

84 р7 (2р - 4 кем)

ISSN 0235—7976

Л 64
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
2•1990 **КУЗБАСС**

апрель — июнь





Книга должна быть возвращена
не позже указанного здесь срока

21

КемПК

у.

84p7 (2p 4kem)
164

Литературный № 2 (108) КУЗБАСС

Год издания 42-й

Выходит
ежеквартально

ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Редактор:
Владимир МАЗАЕВ

Редакционная
коллегия:

Виктор БАЯНОВ

Сергей ДОНБАЙ

Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ

Валерий ЗУБАРЕВ

Александр КАЗАРКИН

Валентин МАХАЛОВ
(отв. секретарь)

Любовь НИКОНОВА



390869

В НОМЕРЕ

Борис Синявский. Ягодка созрела 3

ПОЭЗИЯ

Сергей Самойленко. «Цистерны нефтеналивные...» «В
плантации дикого мака...» «Играй, музыкант...» «Я про-
сыпаюсь среди ночи...» «Будь готов к обороне поваль-
ной...» 13

Валентин Махалов. Вечерний разговор 50

Владимир Ширяев. «Лозунги наши были...» Подражание
Брюсову. Баллада о гвоздях. Артель. «Как и десять дней
назад...» Говорит бывший узник Колымских концлагерей
Виктор Иванович Сизов. «Вам, которые...» «О том, что
мчим вперед...» 79

Владимир Каганов. Небесный алкоголь. Прекрасной
даме. Миф наших дней. Вывод 81

ПРОЗА

Евгений Богданов. Повесть про Володю 16

Владимир Иванов. Два дня лета. Повесть 53

Татьяна Ивницкая. Будем помнить 87

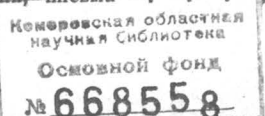
МНЕНИЕ

Леонид Сергачев. Что скрыто за словом 83

НЕИЗВЕСТНЫЙ КОРОЛЕНКО

Владимир Короленко. Дневники, письма 98

Кемеровское
книжное
издательство
1990



Адрес редакции:
650099, Кемерово-99
пр. Советский, 40
тел. 26-88-48
26-85-14

Редакция
рукописи не рецензирует,
а только сообщает
о своем решении.

Рукописи
объемом менее
двух печатных листов
не возвращаются.

Ведущий редактор
В. Б. Соколов
Художественный редактор
В. П. Кравчук
Технический редактор
Г. Н. Манохина
Корректор
В. А. Волкова

На первой и чет-
вертой стр. облож-
ки: Г. Степанов, трип-
тих «Кузбасс — фронту»,
Х. М.

ПОЛЮСА СМЕХА

Владимир Матвеев. Родная стихия. Современная иди-
лия. Русская быль. В мире «хрущеб». Смелая постанов-
ка. Диалог с рецидивистами. Роковое наваждение. Доб-
рый совет. Стихи 109
Иван Логинов. Аллергия. Юмористический рас-
сказ 110

СТИХИ ДЕТЯМ

Эдуард Гольцман. Почему у петушка золотой гребешок?
Чистюля. Почему репка выросла большая-пребольшая.
Сон. Две луны 111
К народам России 112

Сдано в набор 05.02.90. Подписано к печати 18.04.90. ОП03655.
Формат 70X90^{1/16}. Бумага офсетная № 2. Печать высокая.
Усл.-печ. л. 8,19. Усл. кр.-отт. 9,07. Уч.-изд. л. 10,12. Тираж 5500 экз.
Заказ 708. Цена 65 к. Кемеровское книжное издательство. Кеме-
ровский полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059,
г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

Л 4702010200—25
М 145(03)—90 90

© Кемеровская организация Союза писателей РСФСР, 1990

ЯГОДКА СОЗРЕЛА

Вот ведь как течет время! — кажется совсем недавно, довелось мне порассуждать на страницах альманаха о роли и месте в нашей жизни дискотек, и уже проблемы, связанные с этой формой организации досуга молодежи, благополучно скончались вместе с самими дискотеками. Но свято место пусто не бывает: на обильно унавоженной опытом «диско» почве возросло новое древо по имени «видео». Произошло это чрезвычайно стремительно, и процесс этот в который раз проиллюстрировал печальную истину: жизнь реальная шустра, как здоровый ребенок, а мы неповоротливы, как подагрический старик.

Нас вновь накрыла волна. И мы вновь оказались не готовы к ней, но, правда, на этот раз не готовы по-новому, по-перестроечному. Что и говорить — время течет, в течении этом меняется наша несуразная жизнь, меняемся мы сами. Раньше наш отклик на новое был сродни реакции саблезубого тигра на все, что шевелится: увидел — сожрал; ныне подобное не в моде, ныне плюрализм. Вот на этом-то иностранном термине, на плюрализме то есть, и въехало в нашу обыденность, как на Сивке-бурке, видео.

Проблемы, о которых буду рассуждать ниже, печальны и постыдны. Это проблемы не бедности даже, а глухой нищеты, но что делать — с объективной реальностью считаться надо. В нормальной стране нормальный чело-

век вообще не поймет, о чем тут речь, если вдруг ему доведется почитать эти мои заметки. Начнем с того, что ему очень трудно уразуметь, о каких таких видеосалонах и видеозалах я рассуждаю, и будет несказанно удивлен, ошарашен даже, когда ему растолкуют, что видеосалон (он же и видеозал) — это место, где собираются люди для того, чтобы просмотреть с помощью монитора (реже — специального экрана) и видеоманитофона какой-либо фильм.

— Зачем это делать? — горячо воскликнет наш более цивилизованный землянин. — Зачем собираться большой толпой в зале, чтобы смотреть видеофильм? Для этого есть кинотеатры, а видео предназначено для интимного, домашнего просмотра. Для того оно, собственно, и изобретено, чтобы человек имел возможность взять в видеотеке кассету и спокойно просмотреть ее дома. Ведь на кассетах так и значится — «Хоум видео», т. е. «Домашнее видео».

— Кто бы с тобой спорил? — гордо ответим мы ему. — И сами знаем, что платить деньги за то, чтобы в душном зале просмотреть фильм плохого изображения и еще более ужасного звукового сопровождения — дикость. В конце пятидесятих годов нашего столетия в нашей стране так можно было бы продавать билеты на коллективный просмотр телепрограммы, но тогда еще не было ни плюрализма, ни

социалистической предприимчивости, и если кто догадывался извлечь пользу из факта обладания телеприемником, то дальше небольшого презента от пришедших к «телеку» со своими стульями соседей дело не шло.

Сейчас, когда нас захлестнули самые острые проблемы бытия, мы вдруг вспомнили о душе. Нашлись идеально наивные люди, которые сами поверили, а теперь стремятся нас уверить в том, что душу можно созидать, грубо говоря, отдельно от тела. Люди эти рассуждают так: пусть пусто в наших магазинах, пусть тесно и холодно в наших домах, но ведь какой мир вокруг! Какие глубины самопознания, самосовершенствования открыты перед каждым человеком! Кто бы спорил и тут? Глубины и на самом деле перед каждым открыты колоссальные, но не каждый способен не то что исследовать их, но даже и заглянуть туда. Есть, слава богу, и такие, кому дарованы отрешения от телесной нищеты, кто умеет уходить исключительно в сферу духовную, но мало, очень мало таких и не о них, разумеется, речь в данном материале, тем более, что те, кого я лично могу причислить к этому разряду избранных, вообще ничего знать не знают ни о видео, ни о прочей чесотке цивилизации. Они витают в ином мире.

Речь же моя о тех, кто подобен моему соседу по лестничной площадке, о тех, кто живет и живет себе, кто грешит не каясь, кто больше берет, чем отдает, кто больше читает, чем размышляет. О рядовом человеке, словом.

Отчимы нашего государства, в свое время опустившие «железный занавес», как мне кажется, вовсе не задумывались о последствиях этой акции. Им казалось, что в эдаком колоссальном инкубаторе можно будет зачать, родить и вырастить нового гомункула — человека, обладающего особы-

ми физическими, моральными и эстетическими характеристиками, человека, которому будет родным лишь то, что протянуто рукой отчима, и чуждым все, что из-за железного занавеса.

Но широкомасштабный эксперимент начал выдавать не те результаты. Не хочу сказать, что он вовсе провалился — в науке, в том числе и в социологии, нет отрицательного результата. Так и в данном случае — результат отрицателен лишь для «особой исторической общности — советского народа», а для миллионов и миллионов людей планеты Земля он куда как положительный: им теперь доподлинно известно, что этот путь надежно заминирован, идти по нему нельзя, если не хочешь выступить в роли своеобразного камикадзе.

Но и «особая историческая общность» сопротивлялась эксперименту. Она никак не сводилась к одному знаменателю, все делилась и делилась на индивидуумы, каждому из которых почему-то хотелось вовсе не того, что привлекало его соседа. Так, несмотря на всяческие анафемы, проникали, проползали, просачивались из-под, через, сквозь железный занавес и твист с чарльстоном, и Элвис Пресли, и «Битлз». Просочилось и видео, но так как путь того или иного «гостинца» к нашему многомиллионному потребителю был уродлив, то и сам «гостинец» достигал цели совершенно не в том виде, в каком начинал свою дорогу. Элвис Пресли прибывал не в роскошной упаковке фирменного конверта, а «на ребрах», твист не через студии танца, а посредством полутайных дворовых уроков. Особо сильные мутации выпали на долю видео.

Прежде всего потому, что это была и есть очень и очень дорогая игрушка: если того же Элвиса «на ребрах» любой пацан мог купить, потратив рубль всего, запись «Битлз» обходилась в

пятерку, то в сфере видео мгновенно обозначились такие цены, что дух захватывает. Чтобы не быть голословным, приведу калькуляцию. Вначале о ценах государственных. Отечественный видеомагнитофон стоит от 1200 до 1500 рублей. Трехчасовая кассета — от 50 до 68 рублей. Совершенно иной порядок цен в «фирменной» сфере. Комплект видеоаппаратуры «тянет» от десяти до двадцати тысяч рублей (а если вести речь о видеокамере, то она одна стоит самое малое 15—20 тысяч). Трехчасовая кассета от 70 до 100 рублей. Час записи на эту кассету стоит десятку. Это цены конца 1989 года, когда видео уже довольно распространённая вещь, а когда сия техника была лишь у единиц, то и цифры соответственно выглядели иначе.

Вот теперь и решите сами простую задачу — у кого могло появиться и у кого появилось первое видео? Совершенно верно — у фарцовщиков, у дельцов теневой экономики. Не Богом данные папаны наши престарелые немощными своими руками все старались удерживать пресловутый железный занавес, не замечая даже, что он давно превратился в жестяную занавеску, а жизнь текла при этом своим течением.

До нас все доходит, как до жирафа. Видимо, какой-то большой дяденька в Москве считал, что «нашему народу» видеомагнитофоны ни к чему, в результате теперь СССР занимает самое последнее место в мире по обеспеченности населения видеотехникой — всего-навсего 0,01 процента, тогда как в развитых странах каждая семья имеет дома видеоприставку к телевизору. Именно в результате этого видео в нашей стране и претерпело дикую мутацию, превратившись из удивительного и очень полезного изобретения человека в проклятие. У нас даже тот, кто имеет дома видеомагнитофон, не может считать себя при-

численным к ряду цивилизованных видеовладельцев — при таких сумасшедших ценах, разумеется, в домашней видеотеке не учебные и познавательные программы, а западные фильмы соответствующего содержания. Мало я знаю людей, которые решились хотя бы на то, чтобы записать с эфира мультики для своего ребенка — все вытесняют фильмы.

Человеку, как правило, хочется того, чего у него нет именно сейчас и что вообще трудно достать. На этом и жируют видеокоммерсанты. Вначале показы были домашние за бешеные цены — до 25 рублей с человека. Таким образом покрывался риск и невозможность свободно расширять аудиторию — демонстрировалось в таких «домашних видеосалонах» в основном то, где много голого тела, а вся фонограмма состоит из сладострастных стонов и всхлипов. Время от времени таких бизнесменов вылавливали и отправляли на отсидку. Судебные эти процессы, как правило, получали самую широкую огласку в прессе. Даже ЦТ в свое время показало такой процесс с демонстрацией отрывков из криминальных лент. Как и следовало ожидать, это стало прекрасной рекламой и лишь увеличило клиентуру видеобизнесменов. Вчера ещё человек знать не знал ни о каком видео, а теперь, после ЦТ, тоже захотел посмотреть «что-нибудь».

А был бы спрос, предложение ждать себя не заставит.

А тут еще и новые времена подошли — подул ветер гласности и перестройки. Кому-то пришла в голову в общем-то здравая мысль — все равно видео будут смотреть тайно, так пусть оно выходит «на люди». Так появилось чисто советское изобретение — видеозалы и видеосалоны. Еще раз повторю, что додуматься до этого можно было лишь при отчаянной нищете.

Сама эта идея, похоже, принадлежит государственному мужу — я точно знаю, что задолго до того, как в Кемеровской области был открыт первый, так называемый коммерческий видеосалон, имелись соответствующие бумаги, предписывающие создание в городах Кузбасса сети массового государственного видеопказа. Но официальная улита едет тихо, частник же мгновенно уловил свой шанс и не упустил его. Пока реконструировалось и оформлялось помещение, в котором теперь расположен государственный видеосалон «Спектр» в Кемерове, в кафе «Льдинка» начал работать салон коммерческий, образованный предпринимчивыми парнями под эгидой молодежного центра досуга Кемеровского горкома комсомола.

Первоначально это начинание выглядело более чем привлекательно — полагаю, что и самый жестокий преступник в детстве обладал умильной мордашкой. Признаюсь, я и сам потратил немало чернил, чтобы через газету «Кузбасс» защитить идею коммерческого видеопказа, основанную на частной коллекции фильмов. И, надо признать, тогда было что защищать. Ведь что мыслилось — дать нашим людям посмотреть ленты мирового кинематографа, которые они никогда не видели и никогда, похоже, не увидят. Хорошие ленты, разумеется. И ведь в самом начале видеобума действительно вниманию зрителей были представлены такие фильмы как «Крестный отец», «Полуночный ковбой», «Дневная красавица», «Однажды в Америке». Посетители видеосалонов смотрели ленты Коппола и Спилберга, Гиллермина и Кубрика, Бунюэля и Леоне; они впервые встречались с такими актерами, как Мэрил Стрип, Джек Николсон, Чарльз Бронсон, Роберт де Ниро, Грегори Пек, Джессика Ланж... Стоило ради этого затевать дело? — да уж безусловно!

Но вскоре выяснилось, что первопроходцы разработали золотую жилу. И началась истинная «золотая лихорадка». В молодежные центры, в комитеты комсомола хлынули владельцы видеоаппаратуры, горя желанием «культурно обслужить» сограждан. Не безвозмездно, разумеется. О доходах первых видеопоказчиков теперь ходят легенды, говорят, что они зарабатывали до полутора тысяч в месяц на брата. Полагаю, что если и есть тут преувеличение, то небольшое. Тем более — показ того или иного фильма в открытой сети делал ему рекламу и его можно было еще и выгодно многократно перезаписать, а потом, когда он вырабатывал свой ресурс, продать.

Как раз к тому моменту, когда запахи больших и не очень трудных денег стал улавливаем даже теми, кто был лишен обоняния, произошло сразу несколько событий, которые и предопределили дальнейший ход вещей. 1 — открылись, наконец, государственные видеосалоны; 2 — профсоюзная сеть получила централизованно видеоаппаратуру, и практически любой ДК мог теперь открывать свой видеозал; 3 — в область поступила большая партия видеокомплектов «Шарп»; 4 — при Кемеровском горисполкоме было создано городское видеообъединение.

Это был судьбоносный, коварный четырехзубец. Первые его три зуба, понятно, резко увеличивали количество возможных видеозалов, а четвертый обеспечивал новообразованным легальность — был введен институт регистрации видеосалонов и так называемая репертуарная комиссия. Для непосвященных поясню — с той поры любой человек, нашедший себе «крышу» и обладающий собственной видеотехникой, мог принести в городское видеообъединение заявление и получить карт-бланш по крайней мере на год. Это надо было видеть

сколько нашлось желающих! В самое короткое время в городе не осталось, пожалуй, ни одного подвала, ни одного общежития, где бы не гнали видео. Государственная же и профсоюзная сети, как понимаете сами, ни в какой регистрации не нуждались вовсе.

Казалось, что сердитое постановление правительства конца 1988 года снимет накипь с этой волны — если помните, постановлением тем запрещалось заниматься видеопоказом кооперативам. Но увы! Как говорят, на каждый хитрый замок существует еще более хитрая отмычка — оказалось, что в Кемерове, да и вообще в Кузбассе и не было кооперативных видеосалонов. Лихие ребята трудились на видеониве то под эгидой комсомольского комитета, то под «крышей» какой-либо организации (от предприятия бытового обслуживания до больницы). Кое на каких предприятиях даже записали неожиданные доходы в статью «платные услуги населению». Что и говорить — услуги и на самом деле были платные, но вот беда: чем дальше шло время, тем очевиднее становилось, что услуги то преимущественно медвежьи. Надо отметить, что тут Кузбасс наконец-то преуспел и опередил многие регионы страны, даже и города европейской ее части. Лично я убедился в том, что в 1988 году, когда у нас частное видео процветало, ничего подобного еще не было ни в Казахстане, ни в Белоруссии, а в 1987 году этого не было даже в самых «злачных» местах, в курортных зонах. Но лиха беда начало — уже весной 1989 года я не нашел в Сочи ни одного кафе, где бы можно было просто перекусить, не платя еще и за телеэкран с вурдалаками.

...Прочитал сейчас уже написанное и самому стало неудобно — представил себе, что этот номер «Литературного Кузбасса» попал кому-то в ру-

ки в году эдак 2040-м. Это ж как можно будет повеселиться над нами и над нашими проблемами! Но что поделать, если за десять лет до конца XX века такими были мы, такими были наши проблемы? Читай, потешайся над нами, внук наш, если, конечно, тебе до смеха, если тебя не окружили проблемы еще более идиотские — чем черт не шутит!..

Но вернемся к нашим баранам. Вся наша страна — уникальный полигон для всякого рода социальных экспериментов. То мы, вроде убежденные материалисты, с упорством, достойным иного применения, пытаемся на практике осуществить то, что по Библии удавалось лишь Христу — накормить пятью хлебами пять тысяч человек. Я имею в виду, разумеется, не только хлеб как таковой, хотя и в отношении обычного хлеба это наблюдение близко к истине, но все же, если вспомнить область культуры, феномен Христа нас встретит буквально на каждом шагу. В частности — создание сети видеосалонов вместо насыщения рынка видеоманитофонами.

А то и еще чище — ухитряемся как-то так все обстрять, что даже объективные законы начинают вести себя странно. Так у нас далеко не всегда количество переходит в качество. Резкое увеличение количества видеосалонов привело по крайней мере к двум крайне негативным последствиям — снижению уровня репертуара и, пусть это не покажется странным, к сужению круга зрителей. К концу 1989 года клиентура видеосалонов установилась — разнообразная фарца и молодняк, преимущественно студенты, учащиеся техникумов, ГПТУ и подростки. Таким образом, задумка дать интеллигенции дополнительную и полноценную духовную пищу благополучно провалилась. В связи с этим возник резонный вопрос — а зачем вообще этот видеопрокат, если огром-

ная часть жителей Кузбасса вообще не в состоянии прибегать к его услугам? Машина эта работает для своей лишь пользы, перемалывая много раз один и тот же зрительский контингент. Тут еще ведь важно и то, какими жерновами перемалывает.

Словом, речь теперь о самом главном — о том, что же показывается в видеосалонах. Если откровенно — всяческая чушь и негодь. Подход один — надо лишь то, что приносит деньги, а это, как выяснилось со временем, только фильмы с каратэ и так называемая эротика. Причем, чем примитивнее, чем откровеннее, тем вернее в смысле дохода.

Тут мы и вернемся к репертуарной комиссии, которая, как было сказано выше, существовала и существует при Кемеровском городском видеообъединении. Подобные же образования в том или ином виде функционируют и в других городах Кузбасса. Кемеровская комиссия составлена из людей достаточно компетентных и опытных. В ней вы обнаружите и профессионального киноведа, и историка, и работника наробраза, и представителя правоохранительных органов, и журналиста. Да что говорить — ваш покорный слуга, автор данных строк, тоже член этой комиссии, причем с самого первого дня ее существования.

Посему и небольшое, почти ностальгическое возвращение мыслью в прошлое. Ах, как интересно работала эта комиссия еще в 1987 году! Какие были времена! Как аргументированно, с какой опаской за духовное здоровье кузбассовцев спорили ее члены о том, можно или все же пока нельзя выпустить в показ «Кинг-Конг» или «Челюсти»! А фильм «Остров дракона» с Брюсом Ли в главной роли запрещался безоговорочно — как пропагандирующий насилие. А из ленты «Жить и умереть в Лос-Анжелесе» вырезался

перед прокатом кусок, в котором голый герой, сверкнув гениталиями, падал на голую же героиню. Вся эта сцена занимала секунд пятнадцать экранного времени, но наше тогдашнее целомудрие не могло еще мириться даже с этим...

Но время шло. Постепенно проникли — через «добро», выданное осмелевшей комиссией, — на экраны все ленты с каратэ, их, эти ленты, комиссия вообще отсматривать перестала, разрешая все чохом, так как в западном кинематографе строго соблюдается чистота жанра. Если уж в фильме машут ногами и руками, демонстрируя приемы восточного единоборства, то можно быть совершенно спокойным в плане секса — его не будет ни под каким видом. Единственное, что еще могло тут остановить, так это политическая характеристика противоборствующих в фильме сторон, да и тут вскоре выявилась закономерность: если Чака Норриса могло еще занести во Вьетнам или на борьбу с палестинскими террористами, то Брюс Ли и Джеки Хан от всех этих глупостей далеки. Как и «костоломы» и всяческие нидзя.

Не рискнула пока комиссия разрешить к показу фильмы, которые по инерции все еще считаются антисоветскими: «Москва на Гудзоне», «Красный монарх», «Телефон», «Лавинный экспресс», «Рэмбо-2 и 3», «Роки-4». Не выпущен и фильм, в котором успешно сочетаются «антисоветизм» и суровая эротика — «Тигрица».

Не прошли комиссию такие фильмы, как «Мессалина», «Калигула», «Салон Китти», «Красные ночи гестапо», «Пустые фуругоны», «Папайя» — тут совсем уж невозможно, даже при всей толерантности, назвать происходящее на экране эротикой. Все же это ближе к порнографии. «На полку» легли «Круизин» и «Билитис» — здесь члены комиссии усмотрели пропаганду

гомосексуализма и лесбиянства. Не прошла и «История О», садомазохистская лента. Покоробила членов комиссии патологическая жестокость таких лент, как «Город Зомби», «Ад каннибалов».

Пожалуй, все запреты этим исчерпаны.

Как видим, комиссия не поставила, да и не могла поставить надежный заслон «плохим» фильмам. То, что не поставила — это факт, а вот почему и не могла? Да потому что как только видеосалонов стало много, так на комиссию просто-напросто чихнули. Потому, как выяснилось: ничего никому не будет, если не считаться ни с какими репертуарными регламентами, а так как комиссия — порождение бюрократическое, то она вынужденно боролась за свое существование. Борьба эта вылилась как раз во все большие и большие поблажки. Сегодня, скажем, запрещается фильм «Греческая смоковница», а месяц спустя он уже разрешается. Но он и без разрешения шел. Правда, наиболее богобоязные владельцы видеосалонов, чтобы быть от греха подальше, меняли фильму название. У них он демонстрируется под именем «Ягодка созрела!».

А «ягодка» созрела и на самом деле. В видеозалы хлынул поток немецких эротических комедий — и стало ясно, что репертуарная комиссия в свое время была сверхконсервативной, запрещая «Смоковницу» и с трудом разрешая «9½ недель». Вот уж где навалом потного эротического мяса, так это в немецких комедиях!

Не хочу претендовать на сомнительную честь прослыть ханжой и ретроградом. В принципе, я ничего не имею против тех фильмов, что перечислены выше, даже ничего не имею против немецких комедий, хотя лично мне они не нравятся активно. Мне не нравится, а кому-то, возможно, самый смак. Ну пусть бы этот «кто-то» и

смотрел бы эти комедии у себя дома, включая их в минуты, когда подобное зрелище способно помочь ему в решении определенных проблем, но ведь все дело-то в том, что смотрят не дома, а показывают в видеозале, куда (вспомните написанное выше) валом валит подростковый контингент. И пусть никого не обманет предел, установленный репертуарной комиссией для некоторых лент — ...до 16 лет ...до 18 лет — никто на подобные ограничения не смотрит.

Это очень важный момент — кто именно завсегдатай. Я намеренно опросил довольно большую часть людей из круга своих знакомых и из круга знакомых знакомых. Выяснилось то, что я знал и без опроса, — большинство вообще никогда в видеосалоне не было, а кто и был, то давно, в те самые времена, когда и можно было еще посмотреть того же «Крестного отца». Многие и сегодня бы не отказались ознакомиться, но в «гадюшник» — выражение одного из моих респондентов — идти не хочется.

Таким образом получается, что комиссия тот или иной фильм оценила с позиций взрослого, достаточно культурного человека, а смотреть же его будет публика совершенно иная. Тут, конечно, не место давать довольно подробную характеристику тому или иному фильму, но чтобы ясен стал стержень рассуждения, минимальные иллюстрации необходимы.

Взять ту же «Греческую смоковницу». Это весьма профессионально выполненный фильм. Не глупый. И — что для нас важнее — не пошлый. Да, там есть сцены, не совсем привычные нашему целомудренному зрителю (хотя, после «Маленькой Веры», а после «ЧП районного масштаба» особенно, зрительская наша девственность пострадала немало), но они оправданы и темой ленты, и психологически. В этом кинофильме рассказывается о так на-

зываемых хайлафистах, молодых людях, которые, будучи неплохо подкрепленными за счет родителей финансово, берут от жизни все, мало задумываясь, к чему это может привести. Точнее, они хотели бы не задумываться об этом, но не получается. У этих жуиров тоже есть проблемы, правда, своеобразные, хайлафистские.

Назову ещё несколько лент, но прошу помнить, что оцениваю я их с точки зрения довольно подготовленного, начитанного зрителя. «Последнее танго в Париже», «Ключ», «Женщина в зеркале», «9 1/2 недель», «Турецкий фрукт» — это все ленты, исследующие ту сферу жизни человека, которой практически не касалось наше русское, а уж тем более советское искусство: взаимоотношения мужчины и женщины. Интимные взаимоотношения. Вернее — вся гамма психологических, нравственных, этических коллизий, но через призму секса.

По здравому размышлению нет и не может быть возражений против того, чтобы этой деликатной темы касалось искусство — если это искусство, разумеется, — перечисленные же выше ленты я без колебания к явлениям искусства отнесу. Ведь это надо понять трагедию человека как такового, в сущность которого природой заложено мощнейшее противоречие двух начал — мозга, который в таком виде и в такой функции дан лишь человеку, и грешной плоти, которая в такой же почти функции дарована всем млекопитающим земли. Это ли не трагедия? Это ли должно пройти мимо внимания художника? Так что серьезному зрителю я бы не то что «разрешил», а настоятельно порекомендовал бы посмотреть названные выше ленты, но... Но когда я узнаю, что в деревне Плотниково подросткам показывали в видеосалоне «Турецкий фрукт», то я тем плотниковским коммерсантам самолично оторвал бы голову.

«Турецкий фрукт», снятый очень известным режиссером Полом Верховеном, повествует о сложной, изломанной, местами просто патологически изуродованной любви художника и его избранницы. Там есть сцены, которые заставят содрогнуться взрослого человека, но есть и такие, которые заставят его задуматься. Но ведь не подростка!.. Пацану, если ему лет двенадцать, такой фильм может испортить всю жизнь. Мальчишка, только-только подбирающийся к великой тайне секса, вдруг видит изломанную его картину. Эта картина совершенно спокойно способна задать малолетнему зрителю сексуальную программу на годы и годы вперед. Патология будет принята за норму.

И это касается не только вопросов секса. Есть фильмы с патологическими убийствами («Пятница, 13», «Нью-Йоркский потрошитель»), которые вполне способны задать только вступающему в жизнь человеку патологическую же программу поступков. Есть, например, весьма любопытный фильм «Школьный репортаж», который я бы лично настоятельно рекомендовал для просмотра на родительских собраниях и в учительских аудиториях — в нем речь идет о путях, которыми взрослеющие девушки-школьницы приходят к сексуальной жизни, но ведь ленту эту показывают как раз не учителям, а их малолетним воспитанникам. И те с интересом созерцают многочисленные интимные сцены, поданные умело, красочно. И уж, конечно, мимо внимания таких «зрителей» уходит главный смысл фильма.

Есть американский фильм «Обыкновенные парни», который дает детальную картину того, как подросток может прийти к серии тягчайших преступлений, к убийствам. Опять же лента эта не повредила бы работникам детских комнат милиции, родителям, учителям, но совершенно ни к че-

му показывать ее юнцам — в ней тоже, к великому сожалению, заложена опасная романтизация, на этот раз преступления.

Словом, я рискну, наконец, произнести то, что не решился бы ни за что два-три года назад — рискну высказаться за запретительные меры. Понимаю, прекрасно понимаю, что запреты ничего созидательного в себе не несут, осознаю, что их все равно в полной мере осуществить невозможно, но тем не менее... Ратуя несколько лет назад за безграничное расширение границ, я, да и многие мои коллеги, не учли одного — нашей нищеты. Мы границы раздвинули, но почему-то за счет только бандитского видео. Культурная жизнь в наших деревнях (до которых добираются со своим товаром видеокоробейники), на окраинах наших городов не стала богаче, она стала похабнее и мерзостнее. В видеосалонах на глазах всего честного народа происходит ужасное — вымывание всего доброго из душ подростков и отмывание грязных денег, которые теперь уже не пахнут, смердят трупно. Поразительная вещь — исполкомы городских, районных Советов, оказывается, заседали, организовывали и все ради одного — ради того, чтобы обеспечить жирный заработок самому бесовестному, самому жуликоватому элементу. Не случайно же в год-полтора, после начала видеобума, из этой сферы ушли все более-менее заслуживающие уважения люди. Ушли даже те, кто привык и не хотел отказываться от привычки делать большие деньги, но кому все же такой заработок становился противным. Одним словом, к концу 1989 года мы создали у себя в Кузбассе беззастенчивую мафию и покорно начали кормить ее деньгами из своих карманов и душами своих детей.

Что же делать в такой ситуации? Ведь были попытки как-то укоротить

видеобандитов, но попробуй их укороти в век плюрализма! Словно в насмешку над самыми высокими решениями сразу после заседания бюро обкома партии, которое вынесло куда как строгие резолюции в одной из видеотек Кемерова (работающей, кстати, от комитета комсомола), пошла вечерним сеансом похабнейшая «Мессалина», а когда члены городского видеообъединения сделали охамевшим парням замечание, то они, улыбнувшись, сняли «Мессалину», но поставили комедию под названием «Куда ты денешься без небольшого разврата?». Правда, заглавие было немного изменено: «Куда ты денешься без недостатков?» — так стала называться лента, что никоим образом не уменьшило ее «наваристость». Ну и до коих пор мы будем спокойно наблюдать этот бандитизм?

Если говорить о мерах, то самыми верными и правильными были бы эти две: 1 — немедленно, не тратя более ни часа, подписать конвенцию об охране авторских прав в видео, 2 — сделать все, чтобы страна наша была насыщена разнообразным и широкодоступным видеотоваром. Подписание конвенции, конечно, не убьет автоматически видеопиратство, но, по крайней мере, даст в руки правоохранительным органам возможность отправлять кое-кого из видеобизнесменов на отдых в менее комфортные места. Но, как это ни странно, по публикациям в центральной прессе можно судить, что подписанию конвенции препятствует Госкино. Хотя, если поразмышлять, ничего странного тут нет. Дело в том, что государственные видеосалоны давно уже выполняют планы за счет все того же «пиратского видео». И не надо беспокоиться, покупать у авторов фильм для показа, проще можно — купил за «стольник» кассету у фарцовщика и гребь тот же самый навар. Тут, как мне кажется, надо

приложить все наши усилия и через народных наших депутатов заставить тех, от кого это зависит, подписать конвенцию как можно скорее. Понятно, что сейчас может показаться, что у нас есть проблемы и покруче, чем это «ваше видео», но это лишь на первый взгляд.

Наиболее эффективные пути, к сожалению, и наиболее гипотетические — они не зависят полностью от нашего с вами мнения. Но есть путь, который мы у себя в Кузбассе способны пройти самостоятельно. Есть возможность перевести все видеотеки области на показ не фильмов из частных коллекций, а специальных программ, которые будут созданы на основе частных коллекций. Только при этом переходе возможен более-менее действенный контроль за репертуаром. В нашей области есть силы, способные создавать такие программы, вот им-то и надо выдать карт-бланш.

Если мы перейдем на такую систему показа в видеосалонах, то сумеем возродить и аудиторию, и репертуар.

Сможем мы тогда создать и показ по клубному принципу, и даже элитный, по абонементам — для взыскательной публики с программой лент великолепных режиссеров, с участием не менее великолепных актеров.

Меня могут спросить — почему я после всего того, что сказал выше, не предлагаю вообще закрыть все и всяческие видеосалоны? Да потому, что я человек реальных мыслей и прекрасно понимаю, что это не только ничего не даст, но приведет к еще большим извращениям. Тигр, отдававший чело-вечинки, будет искать ее до тех пор, пока его не убьют.

Если же у читателей данного материала появятся собственные мысли относительно судьбы видео в стране, в нашей области, то рад буду выслушать и даже продолжить разговор. Мы, собственно, пока еще у подножия этой проблемы — то ли будет дальше...

Хоть и поставил я в заголовок слова «Ягодка созрела», но сдаюсь мне, что это пока цветочки...



* * *

* * *

Цистерны нефтеналивные,
платформы, полные песка.
Рукой железной не впервые
берет дорожная тоска
за горло — жив еще? — за жабры.
Ну, с Богом, трогай как-нибудь!
Безжизненный пейзаж державы
не даст ни охнуть, ни вздохнуть.

Лесные и лесостепные
развалы гаснут за окном.
Скрипят колодки тормозные,
и стрелочки с фонарем
в шпалопроемных ландшафтах
встают встречать локомотив
в шинелях и собачьих шапках,
лицо от ветра заслонив.

Экзотика согласно КЗоТа —
мелькнет оранжевый жилет,
ударит запах креозота
и загорится красный свет.
Живая ниточка Транссиба,
чуть дребезжащая струна,
держи меня, как леска — рыбу,
веди и поднимай со дна.

Топки, Болотное, Барабинск,
стоянка полминуты, чай,
в кроссворде — реверс и анапест,
в купе — попутчик-краснобай.
Так анекдоты бородаты,
что лучше лечь лицом к стене
и видеть версты полосаты
в бездонном пассажирском сне.

В плантации дикого мака
зайдешь — и ни шагу назад.
Заразней чумного барака
его кумачовый парад.

Заходишь по сердце, как в море,
уколешься мертвой осой
и валишься навзничь, под корень
подрезанный бритвой косой.

Накрытый волной красноперой,
ты видишь, вжимаясь в песок,
как медленно, будто в повторе,
плывут облака в кровоток.

Так медленно, будто в повторе,
ты слышишь сквозь линзу воды
кукушку в бессменном дозоре,
надтреснутый тенор звезды.

В таком непомерном миноре,
что надо бы уши зажать,
не видеть, как пенится горе,
стекая в бороздку ножа,

не слышать шуршания крови,
прихлынувшей к сердцу и вновь
отхлынувшей, в каждом повторе
все меньше похожей на кровь.

Усыпанный траурным маком,
спеленутый шелком знамен,
глядишь помутившимся зраком
в багровый колодец времен,

похожий все больше и больше
на длинный глухой коридор,
в который заходишь, как поршень
в разорванный кровью мотор.

* * *

Играй, музыкант,
захлебнувшись слезой и мазутом,
сбиваясь с охрипшего марша
на сдавленный туш
по мокрой полоске шоссе,
окаймившей рассудок,
горящий багровым белком
сквозь развалины туч.

Въедается в поры
досрочный сверхплановый уголь,
кромешная ретушь упавшей в лицо синевы.
Красна ли цена духовой ритуальной услуги
за выслугу лет и щетину трехдневной травы?

Играй о длине тормозного пути катафалка,
ломавшего ребра кривым рулевым колесом,
о вложенном в ноздри
цветенье тлетворной фиалки,
витающей в сумерках над поминальным
столом.

Асфальт прилипает к ногам,
что твоя изоленга,
и рушится сердце от груза надгробной вины
под звук цепенеющей меди пожухлого лета
и вечнозеленых венков заскорузлой сосны.

От траурных труб резонирует твердь,
и пустоты
гудят, ожидая того, чей высокий сапог
бестрепетно черпал подземную мертвую воду.
И уголь чернит побелевший до срока висок.

Под хруст заломившего руки крепежного леса,
державшего туч, помутившихся разумом, свод,
в посмертный сентябрь переходит
последнее лето
и ртом запредельную воду из пригоршни пьет.

* * *

Я просыпаюсь среди ночи
и слышу, как на шахте дальней
чугун и уголь что есть мочи
пугают сон индустриальный,
как эта ночь стучит зубилом
или отвинчивает гайки,
куда чернее, чем чернила
в чернильнице-непроливайке.

Она катает вагонетки
по всей длине узкоколейки
и пыль с черемуховой ветки
трясет на ветхие скамейки
под сенью крошечного сквера
с остатком гипсовой скульптуры
не то героя-пионера,
не то чумазого амура.

Остатки белоснежных пугал
давно уже черны, как негры,
и гипс напоминает уголь,
которым столь богаты недра.
Скажи спасибо рудознатцам,
до ископаемых охочим,
иначе бы откуда взялся
здесь таким чернорабочим.

Но дело прошлое, чего там.
А нынче ночь не бьет баклуши,
стучит железом, как по нотам,
так, что закладывает уши,
пугая сон провинциальный,
смущая мертвые отвалы,
колотит ночь на шахте дальней
куда попало, чем попало.

* * *

Будь готов к обороне повальной,
а к гражданской — не стоит труда.
Между молотом и наковальней
наливается кровью звезда.

Наливается кровью рябина,
как каленый конвойный погон.
Пахнет воздух сырым керосином,
и паленой резиной — озон.

Будь готов к круговой обороне,
запирай на замок ворота.
Загорается порох в патроне,
тяжелеет в пригоршне вода.

Дорожают железные гвозди,
свищет ветер в прорехи казны,
и гремят неотпетые кости
на погостах голодной страны.

Приготовься к защите убойной,
безголосой, гундосой, глухой.

Если восемь патронов в обойме,
то хотя бы один — холостой.

Будь готов к вспышке слева и справа,
к световой и ударной волне,
охраняя условное право
не участвовать в этой войне.

Уж не в атомной — кто тебя тронет!
А в гражданской — не стоит труда.
Но и в мертвой сплошной обороне
точно так же сгоришь со стыда.



ПОВЕСТЬ ПРО ВОЛОДЮ

Этого ждали и это случилось: Володю разоблачили.

Он появился в редакции прошлой осенью, в начале сентября. Я в тот день вел номер. Зашел со свежим оттиском к редактору. В кабинете сидел парень в драповой куртке с капюшоном. Я удивился: на улице моросило, одежда была не по погоде.

— Вот,— сказал мне редактор,— это товарищ Кондратьев. К нам просится.

Парень поднялся:

— Володя.

У него было по-мужски красивое лицо. Короткие густые волосы, открытый лоб, жесткий подбородок. Я подумал: прямо римский легионер. Только глаза были зеленые — бабы.

— Но тут такое дело,— редактор повертел в пальцах красный карандаш,— Владимир Петрович раньше в газете не работал.

— Я в многотиражку писал, когда студентом был,— сказал Володя.

— Не густо,— пошевелил бровями редактор. Брови у него были исторические — мохнатые, черные. Он пускал их в ход, когда был чем-то недоволен. То, что сообщил Кондратьев, редактора не обрадовало. Но он не отказывал Володе. С кадрами в редакции было туго. Вместе со мной в секретариате работал пенсионер, уже полгода не могли найти человека в отдел писем.

— А кроме многотиражки приходилось писать? — спросил редактор.

— Нет, но... — Володя помедлил, — я пишу стихи.

Лучше бы он этого не говорил: поэтов в редакции не любили. Когда Эдик Суровцев из отдела спорта видел в окошко кого-нибудь из наших городских поэтов, он выскакивал в коридор и кричал: «Всем в укрытие!». На профсоюзных собраниях Эдик просил засчитывать это, как общественную работу.

Я посмотрел на редактора. Анатолий Николаевич нехотя повел плечами:

— Ну что ж, прочтите что-нибудь...

Я думал, Володя откажется. Но он поехал, сунул руки в карманы своей задрюканной куртки и стал читать.

Я обалдел. Не ожидал, что вдруг услышу такое. Стихи были что надо!

Редактора, видимо, тоже задело. Он смотрел в окно, мия свое окостеневшее ухо.

— Почему я про тебя раньше не знал? — спросил я Володю.

— Я недавно здесь.

— А по профессии вы кто? — отвернулся от окна редактор.

— Вообще-то учитель... Но еще геологом был, матросом...

— Что это вы,— насторожился Анатолий Николаевич,— с места на место?

— Так получилось,— просто сказал Володя.

— Жизнь, значит, виновата,— редактор постучал карандашиком по столу.

В кабинет заглянула секретарша Люда, сказала, что меня ищут корректоры. Я посоветовался с редактором по заголовку и ушел.

Минут через десять Володя появился в коридоре. Он улыбался, и я понял, что все в порядке. Так и оказалось: Володю взяли с испытательным сроком.

— Считай, что формальность. Когда на работу?

— Прямо завтра хочу. А то уже дома жить не на что...

Я предложил взять у меня в долг, но Володя замахал руками и сказал, что пару дней они переберутся, а потом жена получит — она устроилась на работу раньше его. Мы перекурили, я в двух словах рассказал ему о конторе. Володя рассеянно кивал, ронял на пол пепел с папиросы. Все равно он мне понравился.

Попрощавшись с ним, я зашел к редактору.

— Куда вы его, Анатолий Николаевич? К Буланцевой?

— А куда еще? Только ты объясни ему, что у нас здесь не художественный журнал, и нам про уголь писать надо, а не про то, что там в его душе... скрипит и играет.

— Насчет объяснить это самой собой, но, Анатолий Николаевич, скажите — это стихи!?

Редактор недовольно покатал по столу карандаш.

— Стихи.

Вообще он был далеко не дурак. Как-то мы выезжали на природу, и там, у костра, Анатолий Николаевич прочитал нам штук десять японских стихотворений. Да еще признался, что сам по молодости пробовал сочинять. Но в конторе он про это не заикался. Все его откровения были в основном про уголь и встречный план.

Я решил попроведовать Буланцеву. Белолицая Муза Матвеевна сидела у аквариума и пила из фужера молоко.

Я сказал ей про Володю. Она неторопливо кивнула:

— Меня уже известили.

— Его судьба, Муза Матвеевна, в ваших руках.

— Но он же ничего не умеет. Боже, до чего мы дожили... Скоро сантехников будем брать... Я, помню, после университета только мечтала о городской газете. Три года отдала многотиражке, четыре — районке, и только потом... А тут — приходит с улицы.

— Муза Матвеевна, я таких стихов, как у него, сто лет не слышал. А остальное он под вашим руководством...

Буланцева расслабленно махнула рукой и пошла мыть фужер.

Ее кабинет был самым уютным в редакции: на стенах — цветы в горшочках, на окнах — мягкие шторы, на столике у окна — аквариум. Раньше Муза Матвеевна держала еще самовар, но после того, как исполнилось пятьдесят, перешла с чая на молоко, которое носила из дома в термосе.

— Так чем же я могу ему помочь? — вернулась Буланцева, — ты ведь знаешь — у нас крыши, трубы, дороги...

Она достала из стола папку, распустила пушистые тесемочки. Посмотрела одно письмо, второе...

— Ну, вот такое — воруют цветы с кладбища — подойдет?

Я подумал: тема как раз для поэта.

— От сердца отрываю, — с легкой улыбкой сказала Муза Матвеевна, — для «Бесед» хранила.

Буланцева вела в газете рубрику «Субботние беседы» — объясняла народу, что нехорошо воровать, обманывать старших и не ходить в филармонию.

— Благодарное человечество вас не забудет, Муза Матвеевна, — я приложил руку к сердцу, а насчет того, почему молодежь в журналисты не рвется, так ведь все проще пареной репы — работа у нас очень вредная — все время врать приходится. А денег за это платят мало.

* * *

Наутро, на планерке, редактор представил Кондратену. Володя встал и неуклю-



же поклонился на две стороны стола. Выглядело это смешно.

— Расскажите о себе поподробней, — потребовала Марианна Зулина из отдела культуры.

— Родился в Красноярском крае, в Абакане окончил пединститут. Работал в школе, в музее, матросом на Оби... Сюда приехали только что — у жены тут родные. Все, вроде...

— Вы, говорят, стихами увлекаетесь?

— Да, я поэт.

— Даже так? — вежливо усмехнулась тонкогубая Зулина, — где же публиковались?

— Да нигде еще пока... — Володя споткнулся и добавил: — если не считать стенгазет...

У дверей приснула секретарша Люда — она заглянула в кабинет посмотреть, как будут знакомиться с новеньким. Редактор покосился на нее и сказал:

— Владимир Петрович скромничает — стихи у него интересные, хотя, конечно, не для массового читателя. У нас газета рабочая.

— А рабочему человеку после трудового дня не до стихов, — озабоченно сказал Эдик, — ему бы поскорее узнать об успехах товарищей по соцсоревнованию. Так, Анатолий Николаевич?

Люда опять хохотнула и выскочила за дверь. Редактор подвигал бровями:

— Еще будут вопросы к Владимиру Петровичу?

Володя сказал, что у них дочь Маргарита, но пока она осталась у бабушки, то есть у его матери.

— Дети должны жить с родителями, — мягко заметила Муза Матвеевна.

— Семья — ячейка общества, — сказал Эдик.

Редактор постучал карандашом по столу:

— Все, товарищи, за работу!

Володя сходил к Буланцевой, потом заглянул ко мне.

— Иду на задание. Вот — даже блокнот выдали.

— Муза объяснила тебе, что и как?

— Да, все как по нотам.

— Как она тебе?

— Обычная женщина, смешная.

— Почему? — удивился я. Мы считали Буланцеву нудной, скучной, но уж совсем не смешной.

— Рыбок кормит, а сама о мужике думает.

— Муза — о мужике? Да ей за пятьдесят уже!

— Настоящая женщина всегда о мужике думает, — засмеялся Володя, — ладно, побегу.

* * *

Появился он в редакции на следующий день к вечеру. Буланцевой уже не было — она по пятницам ходила в бассейн. Володя доложил редактору, а когда тот тоже ушел, мы собрались в фотолaborаторию у Миши Орлова. Место было хорошее — без окошек. Кроме мужиков, были еще Юлька Бабич из отдела информации и секретарша Люда. Володя выставил две бутылки водки и две вина. Мы сбросились и добавили. Женщины сделали бутерброды.

— Ну-с, — поднялся Эдик, — за товарища Володю!

Выпили. Кондратьев стал рассказывать, как они со сторожем сидели на кладбище в засаде. Сначала поймали одну ханыжку. Ее отпустили. Потом заловили двух мальчишек. Один вырвался и убежал. Другой признался: цветы относили на базар, отдавали там за полцены какой-то тетке.

— Гадство все это, — сказал Володя, — главное — я не заметил, чтоб этому пацану было стыдно.

— А чего ему стыдиться, — усмехнулся Эдик, — все воруют, вот и он крутится.

— Ну, во-первых, не все, — вдруг вспыхнула Юлька, — лично я, например, не ворую.

— И я тоже, — засмеялась Люда.

Эдик приложил руку к груди:

— Дико извиняюсь, Юлия Борисовна и

Людмила Сергеевна в хищениях соцсобственности и личного имущества граждан не замечены. Обрати на них внимание, Володя,— одна лучше другой. Причем, обе не замужем. К тому же у Юлии Борисовны своя хата.

— Прекрати, Суровцев! — прикрикнула на него Юлька. Щеки у нее порозовели — она всегда краснела, когда волновалась.

— Все, молчу,— Эдик налил еще по одной,— ради такого случая персонально за наших женщин!

Юлька и Люда поглядывали на Кондратьева. Юлька старалась это делать незаметно, когда поправляла пальчиками очки или вскидывала свою кудрявую головку. Секретарша присматривалась к Володе безо всяких уловок. В редакции она уже не с одним переспала. По крайней мере, я подозревал, что кроме меня у нее были и Орлов, и Яша Гарфельд из отдела промышленности и, конечно, Эдик.

Володя курил папироску и улыбался им обоим. Он почти не пьянел, только в глазах заплескались светлые блики. Я попросил его прочитывать что-нибудь, Володя замахал руками:

— Ну вот еще!

Но его уговорили. Он встал и, глядя поверх нас, прочитал стихотворение.

Эдик тяжело хлопнул в ладоши.

— Браво, старик. Предлагаю за это по полной.

— Володя, ты что, диссидент? — спросила Люда.

Эдик приоблился ее, поцеловал в висок:

— Все нормально, дорогуща. Если мы никому не скажем, то его не посадят.

Люда поморгала и вывернулась из-под руки:

— Да ну тебя! Но ведь этот стишок не напечатает, что, не так?

— Почему не напечатает? Нормальное стихо, шеф с руками оторвет. Тебе что, не понравилось?

— Понравилось, но... там такие мысли...

— Какие?

— Ну... что у нас все не так.

— Да? Это серьезное обвинение,— Эдик

усмехнулся,— это действительно... Ты, старик, прислушайся к голосу из народа: у нас не может быть не так. У нас все замечательно.

— И вообще у нас в Советском Союзе все есть! — склоняясь к розетке, громко сказал Яша.

Люда хотела было обидеться, но передумала и налила себе вина.

Разошлись мы после десяти. На улице шел дождь.

— А ты чего в такой куртке? — спросил Володю Яша,— промокнешь.

— А у меня только такая,— сказал Володя.

— Ох ты бедненький,— качнулась к нему Люда,— иди ко мне под зонтик!

Эдик поймал ее за руку, подал к себе:

— Не суетись, дорогуща.

Они уехали на маршрутке.

Потом разбрелись и все остальные. Я пошел проводить Юльку. Она жила в гостиной. Комната была маленькая. Полочка с книгами, два кресла, стол, диван-кровать — вот и вся обстановка. На одной стене, прямо по известке, были нарисованы фламинго. В крохотном, отгороженном шторой закутке в углу комнаты, Юлька сварила кофе. Потом я смотрел, как она, щебеча, накрывала столик, смотрел на ее маленькие ласковые ноги в белых с голубой окаемкой носочках... Захотелось обнять эти ноги, такие игрушечные и такие живые.

— Ты без сливок пьешь? — спросила Юлька.

Я кивнул.

— А я с холодной водой. У нас так не пьют, но, знаешь, это интересно,— она села напротив, забренчала ложечкой. За спиной у Юльки плыли розовые птицы. Я подумал: хорошо бы остаться здесь до утра. На улице дождь, а тут тихо, сухо, пахнет кофе. Я отпил глоток, вернул чашку на столик, и взял Юльку за нежное запястье.

— Пульс, конечно, выше среднего,— вспыхнув, торопливо сказала она и потянула свою руку вместе с моей к стакану с

водой,— между прочим, очень вкусно, попробуй. Я когда ездила в Турцию по путевке, там научилась...

Она высвободила запястье, подняла плечо.

— Ну, а курить-то у тебя можно? — спросил я.

— Да, конечно,— Юлька принесла крохотную пепельницу-лепесток, открыла форточку и осталась у окошка,— ты извини, но...

Я ждал, что она скажет.

Юлька неловко улыбнулась.

— Я не против этого дела, но уж совсем просто так — не хочется.

— Думаешь, плохо буду о тебе думать?

— Нет,— покусывая губы, усмехнулась она,— но и мне самой о себе иногда охота хорошо подумать. Так что...

— Так что мне пора собираться,— поднялась я.

— Посиди еще,— сказала Юлька,— что уж теперь — и поговорить со мной не хочешь?

Она сняла очки и маслянистые темные глаза ее сделались беззащитными. Они манили.

— Надень очки,— сказал я,— а то я за себя не ручаюсь. Хотя тебе и не хочется.

— А ты не подавайся порокам, ищи поддержку в коллективе,— нервно засмеялась Юлька,— читал последнюю проповедь Музы Матвеевны?

Я хмыкнул:

— А ты знаешь, что о ней Кондратьев сказал?

Я повторил Володиные слова. Юлька задумалась, надела очки:

— Правильно, конечно... Но думать и поступать — это не одно и то же.

Она подобралась, поглядывала на меня настороженно и колко.

Я загасил сигарету и поднялся.

Юлька не стала меня удерживать. У дверей мне взбрело в голову поцеловать ей руку. Видно, я еще не совсем протрезвел к этой минуте.

* * *

В понедельник Володя показал мне, что он написал за выходные. Я прочитал. Написано было хорошо, хотя слог был непривычный, негазетный.

— Нормально,— сказал я,— только вот обобщения не пройдут.

— Почему?

— Потому что в целом мы живем замечательно. И не советую лезть в бутылку — все равно не пролезешь. Тем более ты пока не в штате.

Володя недоверчиво посмотрел на меня, взял материал и понес его Буланцевой.

К обеду Муза Матвеевна занесла его к нам в секретариат. Как я и думал, она аккуратно вычеркнула все намеки на то, что случай на кладбище имеет отношение к «общей нравственной атмосфере нашего общества», как написал Володя. Но все равно материал вышел интересным. Я послал его в набор и собрался в столовую. Зашел за Кондратьевым. Он сидел за столом, смотрел в окно и курил папиросу.

— Ты чего?

Он махнул рукой.

Лицо его было безрадостным.

— Володя,— сказал я,— ты думаешь, мне нравятся эти обрезания? Или Юльке? Или даже Эдику? Но что ты предлагаешь — застрелиться и не жить? Пошли лучше перекусим.

Дня через три статью напечатали. На планерке редактор похвалил Володю, но сказал, чтобы тот не забывал — главная забота всего города и газеты — уголь.

— Так сказать, черное золото, хлеб промышленности,— сложив на животе руки, заметил Эдик.

— А нравственность — разве это не важно? — спросил Кондратьев.

— Важно,— сказал Анатолий Николаевич,— но моральные темы у нас освещает Муза Матвеевна.

На статью были отклики. Писали в основном пенсионеры: куда смотрят милиция и школа, совсем порядка не стало, раньше за такие дела сразу бы к стенке...

Пришли официальные ответы — один из управления коммунального хозяйства, где статью «обсудили и наметили конкретные меры», другой из школы, где учился пойманный Володей мальчишка — ему объяснили выговор по комсомольской линии. Кондратьев радовался этим письмам, показывал их нам. И даже как будто забыл про то, что материал его «порезали».

* * *

После этого Володя написал еще пару сносных материалов и в середине октября его зачислили в штат. Редактор объявил об этом в конце недели. Мы как раз договорились в тот день поиграть после работы в футбол с архитекторами. Форма была — ею нас снабжал Эдик по своим каналам. Володе тоже нашли кеды, футболку и трико. В пять вечера мы были на школьном стадионе неподалеку от редакции. Скоро подтянулись и ребята-архитекторы. Мы хорошо знали друг друга — не раз играли вместе. Правда, у них не было такой, как у нас, формы.

С перекуром мы гоняли мяч часа полтора. Поначалу мы проигрывали. Володя был за вратаря и пропустил пару мячей. Потом Эдик поставил на ворота Яшу, а Володе велел играть в защите. Игрок из Володи был так себе, но на мяч кидался бесстрашно — архитекторы даже слегка пугались его диких наскоков и пасовали своим не совсем точно. Эдик был наготове, перехватывал мяч и отдавал его Орлову. Мосластый, длинноногий Миша при первой возможности хлестал по воротам архитекторов. Бил он сильно.

Мы выиграли с перевесом в один мяч. Яша сбежал домой — он жил рядом, принес канистру. В ларьке взяли пива и пошли в сквер. Место было хорошее — в сквере росли черемуха, карагач, тополя. Мы сидели там, пока совсем не стемнело.

* * *

В понедельник по дороге на работу я увидел, что сквера больше нет. Остались одни скамейки среди пней. Несколько

стариков и старух ругали кого-то безнадежными голосами.

В редакции уже знали о порубке. Все возмущались. Буланцева вспомнила, как хорошо было отдыхать в этом сквере. Люда сказала, что там она первый раз поцеловалась.

— Тоже мне событие... — хмыкнул Суровцев, — мы там позавчера пиво пили!

— Нет, правда, такое было прекрасное место, — волнуясь, сказала Юлька, — это просто варварство какое-то!

Кричали до тех пор, пока редактор не позвонил и не выяснил в чем дело. Оказалось, что на месте сквера решено срочно возвести комплекс наглядной агитации.

— Зеленстрою — мои глубокие извинения, — Эдик положил руку на живот и склонил голову.

— Это неправильное решение! — сказал Володя. — Кому нужна такая агитация? Она вообще никому не нужна!

Редактор свел к переносице брови:

— Вы думаете, о чем говорите?

— А что? Разве не так?

— Решения горкома, Владимир Петрович, — твердо проговорил редактор, — не вам обсуждать.

Это было яснее ясного. Но Володю занесло. Он побледнел и сказал, что надо позвать в редакцию секретаря горкома партии и пусть он объяснит, зачем надо было вырубать сквер. Редактор не сдержался и стал кричать, что мы совсем распустились, что товарищ Кондратьев второй день в редакции, но уже слишком много на себя берет. Володя замолчал, убрал под стол руки.

— Извините... Но, Анатолий Николаевич, разве не обидно, когда все рушится? А что на Байкале делается?

— Мы не на Байкале, а ты не Распутин, — сказал редактор и закончил планерку.

Минут через десять я зашел к Володе. Он стоял у подоконника и курил.

— Дурак я, — сказал Володя, — чего ввязался?

Он вернулся к столу. Сгреб в кучу какие-то бумаги, отодвинул их в сторону. В кабинет заглянула Юлька, с улыбкой подлетела к нам:

— Володя, ты молодец!

Кондратьев отмахнулся:

— Глупость все это.

— Почему? Ты все правильно сказал!

Володя ничего не ответил. Юлька потопталась и ушла.

— Чего ты вдруг про Байкал вспомнил? — спросил я.

Володя поднял на меня свои бабьи глаза и сказал:

— Я там маленьким был. Помню, плыли на пароходе. Я стоял у борта и плюнул в воду. И какая-то тетка меня за это наругала. Как вспомню, так стыдно. Хотя уже столько лет прошло.

Он виновато улыбнулся.

Я думал, редактор будет держать на Володю зло, но все как-то обошлось. Может, Анатолий Николаевич и сам почувствовал, что нехорошо вышло с этой порубкой. Да и народ в редакции был молчаливо настроен не в пользу наглядной агитации. Правда, и Володино выступление понравилось не всем: я слышал, как парт-орг Рябова говорила ответсекретарю дяде Грише:

— Таким образом героя из себя корчить — много ума не надо.

* * *

Однажды Рябова объявила:

— Вечером всем необходимо после работы пойти в Дом политпросвещения на фильм.

— Я не могу, — сказала Юлька, — у меня сегодня...

— Минуточку, товарищи, — перебила ее Рябова, — фильм не рядовой, связанный с Леонидом Ильичем. Я думаю, никаких отговорок быть не может. Вопрос на контроле городского комитета партии.

— А беспартийным что — тоже идти? — спросил Володя.

Рябова покосилась на Кондратьева, пытаясь, наверное, сообразить — серьезно он

не понимает того, о чем спрашивает, или дурачка из себя строит?

— Мы все, Владимир Петрович, работники идеологического фронта, — думаю, не надо объяснять, что это значит.

Все молчали.

— Еще раз предупреждаю, — сказала Рябова, — вопрос стоит очень серьезно.

После планерки мы собрались у Эдика перекурить. Молчали, переминались с ноги на ногу. Забезжала Юлька. Настроение было паршивое.

— Как вам это нравится?

— Идем строем. Ты будешь запева-лой, — сказал Эдик.

Юлька вздернула плечи:

— Но я правда не могу! У меня на вечер запланирована важная встреча.

— У работника идеологического фронта, — нахмурился Эдик, — не может быть слова «не могу»!

Кто-то, кажется, Яша рассказал анекдот про Брежнева. Посмеялись. Но в общем было невесело.

— Я не пойду, — сказал вдруг Володя.

— Ну-ну, — хмыкнул Эдик, — да тебя начальство с потрохами екушает.

— Давайте все вместе не пойдем, — сказал Володя, — со всеми ничего не делают.

— Призываешь к политическому неповиновению? Это надо подумать, — Эдик наморщил лоб.

Тут зазвонил телефон, и он быстро взял трубку.

Номер в тот день должен был вести дядя Гриша. Я решил его уговорить сходить за меня в кино, а самому отработать за него. Поначалу дядя Гриша, вроде, согласился, а потом заколебался, собрался идти советоваться с редактором. Я пообещал ему, что сам все улажу. Прежде чем идти к шефу, заглянул к Володе. Спросил его: не передумал? Володя помотал головой.

Я не знал, как мне быть: рассказать редактору все как есть или соврать чего-нибудь? Но все обошлось. Когда я сказал, что хотел бы вместо дяди Гриши повести сегодня номер, редактор посмотрел на ме-

ня из-под нависших бровей и вдруг как-то устало вздохнул:

— Поработать, значит, захотелось... Ладно, черт с вами.

В коридоре я встретил Юльку.

— Что, Володя правда не идет?

— Я тоже не иду, — радостно сказал я.

— Молодец! — помедлив, сказала Юлька и быстро пошла к себе в кабинет.

В столовой во время обеда Миша Орлов, напустив на лицо улыбку, спросил у Рябовой:

— Татьяна Леонидовна, а может, мы делегатов в кино выберем? Самых достойных, так сказать.

Рябова покосилась на Мишу, но ничего не сказала.

— Не пролезла, старик, твоя ракуха, — усмехнулся Яша.

— А может, мы это... — задумался Миша, — придем, отместимся, а потом потихоньку смоемся?

— На худой конец, можно и так, конечно, — сказал Яша, — хотя все это...

— Противно все это, — сказал Володя, — лучше вообще никому не ходить.

Рябова услышала. Облизала ложку, положила ее на салфетку и повернулась к нам:

— Прекратите, Владимир Петрович. Очень вам это советую.

К концу рабочего дня редакция опустела. Эдик смотался куда-то еще сразу после планерки. Потом, уже к вечеру, позвонил и, похмыкая, попросил меня передать начальству, что он нынче с товарищем предгорисполкома едет в областной центр на выездную игру «Металлурга».

Миша с Яшей тоже ушли пораньше. Сказали, что на алюминиевый завод, за фоторепортажем о трудовой елке. Следом за ними выпорхнула Юлька. Где-то около пяти, на ходу застегивая свою драповую куртку, ко мне заглянул Володя:

— Ну что, мужики пойдут, нет?

Я пожал плечами.

— Получится, что я решил выделить-ся, — сказал Володя, — лучше бы всем не ходить.

Он потоптался у порога, вяло махнул мне рукой и ушел.

Утром все делали вид, что ничего не произошло. От дяди Гриши я узнал, что не было только Володи и Эдика.

— Герои! — зло сказал дядя Гриша.

Так молчали до обеда. По дороге в столовую Эдик приобнял Юльку и спросил:

— Ну, как фильма?

Юлька вывернула плечо из-под его руки:

— Что ж не приплы, коли так интересуетесь? Али вы из принципиальных?

— О чем ты, дорогуша? Меня высокое начальство зазвало на матч, а то бы я в первых рядах...

— Да мы в общем-то и не смотрели, — быстро сказал Миша Орлов, — минут десять посидели и смылись.

После этого к разговору о просмотре фильма больше не возвращались. И ни Володю, ни Эдика к начальству не вызвали разбираться. Но еще несколько дней мы чувствовали себя неловко: не собирались вместе перекурить, сгонять партию в шахматы. Потом все, вроде, вернулось на круги своя, но Эдик как-то с привычной ухмылкой назвал Володю «советом журналистского корпуса», а тот, видно, подумал, что это намек на историю с фильмом про Брежнева и страшно смутился. У него даже лицо перекосило, и он выбежал из красного уголка, где мы собирались потренироваться после работы.

* * *

Перед ноябрьскими праздниками разрабатывали план номера. Володю поставили освещать демонстрацию. А за несколько дней до праздника дядя Гриша пожаловался:

— Кондратьев до сих пор не сдал «болванку».

— Владимир Петрович? — спросил редактор, — вам что, не объяснили?

— Как не объяснили — объяснили, — сказал дядя Гриша, — только товарищ Кондратьев умным себя считает. Болванки,

говорит, для болванов. Для нас всех, значит...

— Очень остроумно шутит наш молодой коллега, — сухо заметила Рябова.

Володя смешался, напрягся.

— Отвечай, старик, по всей строгости революционных законов, — сказал Эдик.

— А вам, Эдуард Васильевич, я смотрю, все смешно, — повернулась к Суровцеву Рябова, — надо же знать меру, в конце концов. Я, например, ничего смешного не нахожу в том, что нас считают, простите, болванами.

— Я так не говорил, — стал оправдываться Володя, — я только сказал, что болванка происходит от слова болван. Я никого не имел в виду... Я думал, зачем за год писать про демонстрацию, это же неинтересно... Я же все равно там буду. И с людьми надо поговорить: откуда я знаю, что они скажут?

От этой наивности было неудобно. Юлька даже опустила голову. Редактор тоже слегка растерялся, поездил по лбу бровями и сказал:

— Не будем раздувать из мухи слона. Основа репортажа сдается заблаговременно в силу производственной необходимости. Видимо, Владимиру Петровичу это толком не объяснили.

В коридоре Суровцев хлопнул Володю по плечу:

— Ну, спасибо, старичок, позабавил. Насчет болванов — это в самую середку.

— Я не имел в виду...

— Не скромничай. Горькая правда, она... — Эдик, придуриваясь, сделал вид, будто утирает слезу. — Думаю, это потрясение надо отметить.

Вечером, как обычно, мы собрались в фотолaborатории. Вспомнили про историю с «болванкой», Яша очень похоже перепридумал Рябову.

— А теперь слушай сюда, — сказал Суровцев Володе, — возьми в горисполкоме сценарий, добавь туда для лирики пару слов про то, что трепещут на ветру транспаранты, что громкое «ура» вздымает с деревьев стаи воробьев, и засылай в на-

бор. Миша заделает пару снимков и все будет ол райт.

— А если ветра не будет, а наоборот снег пойдет? — спросил Володя.

— Тогда внесешь поправочку — мол, несмотря на непогоду, колонны трудящихся пробились к трибуне, чтобы руководящие лица смогли поприветствовать свой народ. Делов на пять минут. На демонстрацию даже можешь не ходить — сразу дуй в контору и наблюдай в окошко за погодой. Это самое главное. Все остальное народ поймет и простит. Предлагаю подыять за народ.

— Эдик, — сказал Кондратьев, — я тебе завидую.

Суровцев поморщился, достал из пельницы свой окурочек и, похмыкивая, стал рассказывать анекдот. Потом у них с Орловым зашел разговор про последнюю игру нашей хоккейной команды «Металлург». Яша как бы между прочим поинтересовался о том, сколько наши заплатили за ничью.

Эдик лениво прищурился:

— Много будешь знать...

— Правда, что ли, за деньги договариваются? — встрял в их разговор Володя.

Эдик развел руками:

— Ну, старик, чего в жизни не бывает...

— А почему ты про это не напишешь?

— Слабо ему, — сказал Яша.

— Слабо, — охотно согласился Суровцев.

— Нет, правда, почему про это нельзя написать?

Эдик вздохнул:

— Объясняю популярно: отцы города не допустят. Никогда. Я уже не говорю про шефа. Еще есть вопросы?

— Значит, «Металлург» критиковать нельзя?

— Почему нельзя, — пожал Эдик плечами, — можно.

— За то, что Вася Лаушкин пульнул шайбу не в ту сторону, — засмеялся Яша.

— Мальчики, может, хватит про эти ваши шайбы? — сказала Люда, — каждый день одно и то же.

Но Эдик решил отомстить Яше. Он приобнял Володю и кивнул на Гарфельда:

— Спроси у этого гражданина, как бригада Героя Суркова свой миллион добывает? Сколько участков на бригаду пашет — два, три или вся шахта?

— Правда, что ли? — повернулся Кондратьев к Яше.

— Наглая ложь! — закричал Гарфельд и затынул на рубашке галстук, — почин бригады одобрен на самом верху. Не слушай его, Володя, он дискредитирует линию! Я буду жаловаться!

— Предлагаю за линию, — сказал Эдик.

— Если вы не прекратите свои антисоветские разговоры, я напишу на вас доклад Анатолию Николаевичу! — потрясла пальцем Люда и зевнула. — Может, прошвырнуться куда-нибудь?

Ее никто не поддержал. Погода была слякотная — куда идти? А у Миши было хорошо — тепло, фотографии на стенах, диванчик. Да и вышить еще оставалось.

— Михаил, сыграйте, — попросила Орлова Юлька.

Миша посмотрел на нас.

— На самом деле, старичок, — кивнул Эдик, — отведи душу.

Орлов снял со стены гитару, настроил. Взял несколько аккордов, поднял лицо и запел. Всегда как будто чем-то недовольный, молчаливый, Миша преобразился: разошлись на лбу морщины, посветлели глаза. Орлов спел нам Окуджаву: про прощание с новогодней елкой. Юлька, обхватив себя за плечи, невидяще смотрела перед собой.

— А Высоцкого не поешь? — спросил Володя.

— Фактура не та.

— У меня кассета есть, — вспомнил я, — а у кого диктофон?

— У шефа есть, — помедлив, сказала Люда, — но если он узнает, я получу втык.

— Не бойсь, дорогуша, не продадим, — успокоил ее Эдик.

Мы пошли искать диктофон и кассету.

— Свет не зажигать, — предупредила

Люда у кабинета редактора. Она открыла дверь и поманила меня за собой.

В кабинете было гулко и прохладно. Форточки были открыты, и темные шторы медленно колыхались. Люда достала из шкафа диктофон, осторожно положила его на стол и шагнула ко мне:

— Ну?

Я обхватил ладонями ее груди. Люда подалась, почти повалилась на меня, вдавливая груди в ладони и вихляя бедрами. Я расстегнул на ней рубашку. Люда изогнулась, завернула назад руку, вытянула бюстгальтер, бросила его на редакторский стол. Схватила меня за плечи и потянула на себя. Я показал ей головой на неприкрытую дверь. Люда мелко закивала, вывернулась из моих рук и побежала к двери...

— Ну-с? — сказал Эдик, когда мы вернулись, — как будем оправдываться?

— Подружили маленько, — засмеялась Люда и показала Суровцеву язык, — а тебе что, завидно?

Она налила себе водки, залпом выпила и полулегла в кресло.

Я поставил кассету. Там были записаны любимые мои песни — «Колея», «Банька»... Люда взялась было подпевать, но Суровцев оборвал ее:

— Умоляю — помолчи: дай послушать человека.

Люда покосилась на меня: может, я заступлюсь?

— Эдик, конечно, грубый человек, и ему только с лошадыми жить, но правда — давай послушаем.

Люда вытянула вперед губы:

— У, мужичье...

Напоследок я нашел на кассете «Охоту на волков». Володя попросил сделать погромче; уперся кулаками в скулы. Чувствовалось, что он уже был хорош. Миша обнимал гитару и смотрел в пол.

— Ну что, по последней? — предложил Суровцев, — за Владимира Семеновича?

Володя крепко захватил стакан и, морщась, мотнул головой:

— Когда он поет, мне стыдно жить.

Кондратьев поднес стакан к губам, помедлил и опустил руку:

— Он — не боялся, я — боюсь.

Слушать все это было не особенно приятно. Эдик все же ухмыльнулся:

— Предлагаю всем пойти и сдаться. Добровольно.

— Нет, мужики, я серьезно, — гнул свое Володя, — чего мы все боимся?

— Старик, ты выпей, — подтолкнул его под руку Яша.

— Не хочу больше. У меня отец — Герой Советского Союза. Ему дали Героя за прорыв под Фастовым.

Выручила нас Юлька. Она сдернула со спинки стула курточку и тронула Володю за плечо:

— Ты меня не проводишь, сэр?

— Конечно! — Кондратьев поднялся, отер ладонью лицо, постоял так, будто вспоминая что-то. — Кажется, мужики, меня не в ту сторону понесло.

— Не переживай, — сказал Эдик, — если что — сухарей тебе насушим.

Они ушли. Мы допили и тоже стали собираться. Люда, оглаживая бедра, поинтересовалась:

— А меня кто провожать пойдет?

— С кем дружила, тот пусть и провожает, — сказал Суровцев.

— Само собой, — поднялся я.

У дома Люда потянула меня на скамейку. Уселась мне на колени. Мы целовались, лазили друг другу под одежду. Я думал про Юльку — оставит она у себя Володю или нет?

— А ты знаешь, — засмеялась Люда, — я после праздника замуж выхожу. Вот так.

— Ничего себе новости, — я слегка оторопел, — ну ты даешь.

— Даю! — Люда щелкнула меня пальцем по щеке, поцеловала и соскользнула с коленей. — Бывай, дружок!

Я вернулся к себе в общежитие. Мои соседи по комнате уже спали. На подоконнике стояли пустые бутылки из-под вина. Здесь тоже пили в этот вечер.

* * *

На праздники я поехал к родителям. Жили они на окраине райцентра. С утра я посмотрел по телевизору демонстрацию в нашем городе — погода была нормальная, транспаранты, как и предсказывал Эдик, вовсю трепетали на ветру. Мать пекла шаньги и несколько раз зазывала меня на кухню. Просила, чтобы я не давал отцу много пить: недавно помер от цирроза печени один мужик с соседней улицы. Сама мать не пила. Она наливала себе рюмку водки и потом растирала руки. Так было и в этот день. Мать отлила себе водки, отставила рюмку в сторону и стала следить, как пьем мы с отцом. Отец не выдержал, выругался.

После обеда мы вышли с ним на крыльцо покурить. В доме по соседству уже пели. Громче всех выделялся резкий женский голос.

— Вот что эта Нинка думает? — вздохнула за спиной мать, — опять ведь ее Мишка с Сашкой избобют.

— Как избобют? — не понял я, — мать, что ли, избобют?

— А вот так. На День Конституции напилась и давай девчонок, с которыми Мишка и Сашка ходят, костерить. Сыны ей и наподавали, сколько дней в синяках ходила. Да не впрок, видать.

Мать взяла ведра и пошла поить корову.

Только она ушла, как домов через пять от нас повалил кверху черный дым.

— Наверное, пацаны покрышку зажгли, — сказал отец.

Но дым из черного внезапно стал белым и уже нависал над крышами густым облаком. Я побежал за калитку. Отец за мной.

Оказалось, у Чепкасовых горело в огороде сено. Вдоль забора, за которым стояла эта копна, уже бегал народ с ведрами. Воду черпали из колодца, брали из луж. Краснолицый, еще не протрезвевший Чепкасов сдергивал граблями с верхушки копны остатки толи.

— Иван, как бы на нашу стайку — не

пыхнуло! — закричал его сосед Пономарев, — тогда беды не оберешься.

Набежали ребяташки. Тоже черпали из луж грязь, плескали на коню. Но сено продолжало гореть: пламя рвалось изнутри. Наконец догадались повалить забор. Я встал на штакетины и стал принимать ведра. Рядом встал Пономарев.

— Бегом, давай, бегом! — покрикивал он зло.

Приехала пожарная машина. Мальчишка в шлеме и брезентовой робе раскатал шланг и кинулся к коню. Но шланг оказался дырявым: струи забились сразу в трех местах. Пришлось раскатывать другой.

— Эй, корреспондент, продерни их как следует в своей сплетнице! — крикнул мне Пономарев.

Коню обмахнули тросом и пожарная машина выволокла ее из огорода на дорогу. Там сено развалили и окончательно залили водой.

Вечером мы пошли с отцом в баню. Покурили в предбаннике, пока распаривался веник.

— Не много сгорело? — спросил я.

— Веза два было.

— Сколько это стоит?

— Да кто его знает, почем нынче воз? Каждый год дорожает. В прошлую зиму по семьдесят брали. Покосов-то совсем не остается — все разрезы кругом.

— Стране нужен уголь, — вспомнил я редактора.

— Наверху, конечно, виднее, — согласился отец. Помолчал, щурясь: то ли папиросный дымок ел ему глаза, то ли вспоминал что, — ладно, пошли париться.

Жару он надал много, но хлестался недолго: плеснул в лицо холодной водой и ушел с полка на порог:

— Выдыхаться стал... износился, видать.

— Курить бросай, — сказал я, — и пить тоже.

Отец вздохнул, приподнял с коленей пальцы и, помешкав, уронил снова. Мне стало жалко его — усталого, худого. Я стал рассказывать ему, что посмешнее.

Вспомнил про Володю. Отец слушал с интересом, мокрое лицо его метилось на улыбку:

— Отчаянный парень. А как начальство — терпит?

— Терпит пока. До поры до времени.

— Тоже верно, — не стал спорить отец.

— Что верно? — я вдруг озлился, — что плетью обуха не перешибешь, что против ветру не надуешься? Какие там еще половицы у народа в ходу? Но ничего, папа, будет и на нашей улице праздник. Мы этих козлов...

— Расхорохорился, хвастунишка, — хохотнул отец, — мы, мы... Не таких спутывали.

— Ты еще Сталина вспомни.

— А что Сталин? При нем порядок был. Вот ты про уголь говорил. Надо, конечно, кто спорит. Но вот у нас за лугами карьер отработали, а ямы не засыпали. У Семенова телка забрела туда и ноги переломала.

— Твой Сталин бы, конечно, такого не допустил. Он бы этот заговор английской контрразведки моментом раскрыл и всех к стенке поставил.

— Какой заговор? — не понял отец.

— Как какой? У него же враг народа обязательно шпионом должен быть.

— Насчет шпионов я не знаю, — отец поднялся с порога, снял с гвоздя мочалку, — а вот разбрёда такого, как сейчас, он бы не потерпел.

Так, пока мылись, — спорили. Дома передохнули, но когда после ужина сели смотреть телевизор, опять схватились. Мать, помаргивая, послушала нас, а потом сказала:

— Какой-то вы не такой разговор завели. Наше ли дело большое начальство обсуждать? Ладно — дома, а донесет кто? Не оберешься потом.

— Точно, мам — есть специальная статья.

— Вот видишь, — охнула мать, — не приведи Господь! Лучше от греха подальше. Разве плохо мы живем? Куда с добром лучше. Молоко — свое, сметана — своя.

Хлеб в магазине есть. Чем не жизнь? И начальник у нас хороший — все против войны борется.

— Слышал? — мигнул я отцу, — а ты говоришь — разброд в народе!

Отец досадливо махнул рукой и пошел спать. Мать посмотрела ему вслед, вздохнула и повернулась ко мне:

— Вот ведь характер у человека — все не по нему...

Она тяжело поднялась с дивана и пошла стелить мне постель.

Я лег. Не спалось. Потом я услышал, как отец вышел на крыльцо — наверное, курить. Вспомнился наш разговор с ним. Отец и раньше выпивал, но как-то веселее, что ли. А последние годы, мать жаловалась, пил в одиночку. Уйдет в сарайчик, где у него разный плотницкий инструмент, и пьет там. А потом, рассказывала мать, ходит молчуном. До свинячьего визга, правда, отец никогда не напивался, меру свою знал. Я вернулся на другой бок и вспомнил нашу последнюю пьянку в редакции, себя с секретаршей в кабинете у редактора. В этом деле она была искусной, ничего не скажешь, на даче у ее родителей она показала мне это... но там мы были одни, в постели, и времени была целая ночь, а тут... Я закрыл глаза и увидел темные шторы, полураздетую Люду у большого стола, за которым проходили наши планерки. «Не совсем хорошо все получилось», — подумал я, но стыда не почувствовал.

На другой день я вернулся в город.

* * *

Перед планеркой, девятого ноября, обсуждали, кто как провел праздники. Яша с женой гуляли у Суровцевых. Выпили прилично.

— Наклюкались до того, что Эдик стал требовать, чтобы его выдвинули в почетный президиум, — рассказывал Яша, — и чтобы единогласно. Ладно, стали голосовать. Я — само собой — за, моя подруга — за, а жена Эдика — против. Стали состав-

лять против нее протокол. Тут заявляется Людочка с хахалем...

— Не с хахалем, а с женихом, — сказала секретарша, — почти что мужем.

— Ты что, серьезно, что ли? — спросил Миша Орлов.

— Вполне. Вы меня замуж брать не хотите, брезгуете...

— Покажи нам этого подлеца, — Эдик сдвинул брови, — мы его в порошок сотрем.

— Не подлеца, а подлецов, — поправила его Люда, — во-первых, это ты соблазнял меня, как мог...

— Дорогуша, но как я мог взять тебя в жены, ведь я уже захомутован.

— Мог бы развестись. Но я бы за тебя не пошла, так что не переживай.

— Это почему? — изумился Эдик и даже слегка откинул голову.

— Почему? Потому что... — Люда немного подумала, — потому что изменять бы мне стал.

Она повернулась ко мне.

— А вот еще субчик. Шептал мне всякие слова?

— Шептал, — сознался я.

— А замуж звал?

— Нет.

— Но я бы за тебя тоже не пошла: у тебя квартиры нет. А так ты мальчик хороший, — Люда легко вздохнула. — Вообще вы все мальчики ничего из себя, но мой жених лучше. Без живота, и с гостинкой.

Вышел дядя Гриша со свистком:

— На планерку, ребятки.

Обсуждали праздничный номер. Говорить особо было нечего. Все материалы были хвалебные. Дядя Гриша отметил фоторепортаж о бригаде Суркова. Тут Володя, который до этого молчал, поднял голову:

— Да на эту бригаду вся шахта работает. Устроили показуху.

Все как-то подрастерялись. Не из-за того, конечно, что Володя кого-то поразил этой новостью. Об этой новости весь город знал. Бригаде Суркова делают миллион — ну и что? Два года назад делали миллион другой бригаде.

— Есть документы, которые подтверждают это? — ровно, без нажима, спросил редактор.

Володя смутился, оглянулся на Яшу — тот сидел за его спиной, пробежал глазами по нам всем. Мы промолчали — что мы могли сказать?

— Я на демонстрации с одним парнем разговаривал, — неуверенно произнес Володя, — он мне про это подтвердил.

— А я с нашим дворником разговаривал, и он про это не подтвердил, — как бы шутя сказал Анатолий Николаевич, — давайте, товарищи, не будем заниматься слухами. Мы ведь не на скамейке у подъезда. Григорий Иванович, как там у нас складывается следующий номер?

Дядя Гриша водрузил на нос очки, взял в подрагивающую руку листок:

— На первой полосе нет ударной информации.

Редактор повернулся к Яше и его завотделом Бурмакину:

— У нас что — шахты перестали выдавать уголь, а строители — строить?

— Все же к празднику рапортовали, а сейчас к чему? До Нового года еще далеко, — хмуро сказал Яша, — может, передохнем маленько?

— Может, мы и горнякам предложим передохнуть? Фабрики остановим? Иван Сергеевич, — обратился редактор к Бурмакину, — свяжитесь с промотделом горкома, согласуйте инициаторов. И сразу в номер.

Бурмакин послушно кивнул. Он никогда не спорил с начальством и добросовестно выполнял все указания.

После планерки мы столпились в коридоре у доски объявлений. Володя подступил к Бурмакину:

— Иван Сергеевич, скажите, что — неправильно я сказал?

Суровцев протянул Володе руку:

— Старик, я восхищен?! Так должен поступать каждый советский человек. Смело вскрывать недостатки — священный долг журналиста и гражданина.

Кондратьев растерянно пожал протянутую ему руку:

— Нет, но я серьезно, Иван Сергеевич? Вы же тут давно уже, все знаете.

Бурмакин повел кругом серыми усталыми глазами. Пожевал губами и добродушно улыбнулся:

— Пойдем, я тебе лучше в шахматы проиграю.

Он обнял Володю и повел к себе.

* * *

Через два дня с утра по радио и телевидению зазвучала траурная музыка. Потом сообщили — умер Брежнев. По дороге из редакции я зашел в магазин. В отделе «Соки — воды» всхлипывала продавщица.

В стране был объявлен траур. Поступило распоряжение печатать соболезнования от трудовых коллективов. Потом поступило дополнение: соболезнования подкреплять повышенными содействиями. Эдик встретил Яшу, пошутил:

— А ты говорил — где взять ударную информацию...

Мы собирались, обсуждали — кто будет вместо Брежнева. У Яши был хороший транзисторный приемник, он ловил по нему зарубежные радиостанции, а потом рассказывал нам, что говорят наши «друзья». Володя фантазировал: вдруг придет такой человек, который разрешит свободу и все другое.

— Старичок, — сказал ему как-то Суровцев, — народу твоя свобода до фени. Ему надо, что колбаса была и Пугачева раз в месяц на гастроли приезжала. Это еще в Древнем Риме поняли. Чего там народ требовал? Хлеба и зрелищ!

— А Спартак? — сказал Володя, — он чего хотел? Свободы или пожрать?

— Пожрать. Если по большому счету. И еще посмотреть бой гладиаторов. Так что, старичок, не кипятись за народ.

Володя не нашел что ответить. Эдик усмехнулся:

— Не переживай. Все знают, что лично ты — за свободу.

— А ты?

— А я тебя всецело поддерживаю и одобряю.

Потом стало известно об избрании генсеком Андропова. Володя в тот день, помню, был какой-то помятый. Я зашел к нему в кабинет — он сидел у окна и отрешенно смотрел перед собой.

— Чего это с тобой? — спросил я его.

— Я думаю, что начнется тридцать седьмой год.

Володя ошибся: расстрелами и не пахло.

Но перемены были. В кинотеатрах, в ресторанах и пивных стали делать облавы — искали нарушителей трудовой дисциплины.

Редакцию кинули освещать эту кампанию. Даже мне пришлось поучаствовать. В райотделе милиции меня и девушку с городского радио — ее звали Светланой — определили в группу капитана Зайцева. В группе было три милиционера и два мужика из общественности. Мы сели в автобус и поехали. В первой же пивной набрали полавтобуса. Я обратил внимание на мужчину в синей курточке. Рядом с ним сидела молодая женщина. Она что-то говорила ему, дергала его за рукав, а он все время старался отвернуться к окошку.

— Товарищ капитан, — сказала женщина, — может, вы отпустите нас? Нам на работу надо.

— Чего ж вы в рабочее время по пивным шатаетесь? В рабочее время надо работать, — весело сказал широкоплечий светлоглазый Зайцев.

— Да мы в обеденный перерыв. Просто, знаете, пить захотелось. Вы же видите — мы не пьяны, выглядим вполне прилично, — она поправила розовый шарфик и улыбнулась.

— Вот сообщим вам на работу и тогда посмотрим, какие вы приличные, — сказал толстый мужик-общественник.

Неподалеку от винно-водочного магазина остановились, и милиционеры с обще-

ственниками пошли отлавливать следующую партию. Нас с девушкой оставили в автобусе сторожить задержанных. Через минуту ко мне подошел мужчина в синей курточке и вежливо, шепотом попросился в туалет. Насчет этого мне инструкций не давали и я не знал, что делать. Но мужчина был вполне интеллигентный. Я велел водителю открыть дверь, и мы вышли. Немного в стороне стояло дощатое строение — тир. Вокруг — никого. Мужчина побежал за угол тира. Я подождал. Мужчина не возвращался. Сбежал. Когда я сообщил об этом капитану Зайцеву, тот засмеялся:

— Надул, значит, корреспондента мужичок!

— А вот мы у гражданки спросим, откуда он такой хитрый, — сказал толстяк-общественник, — вместе пили, вместе и отвечать будете.

— Что вы говорите! — улыбнулась женщина, — я этого товарища, который от вас убер, в первый раз вижу.

— Ладно, поехали в отделение, там разберемся, — скомандовал капитан.

Автобус был набит под завязку. Среди всех выделялись два высоких парня в комбинезонах, обсыпанных мукой. Они держали завернутые в газеты бутылки и зло поглядывали на мужиков-общественников. В отделении у парней выяснили фамилии, сверили через адресное бюро, потом позвонили на мукомольный завод. Оказалось, что задержанные до сих пор не вернулись с обеденного перерыва. Парней отпустили и принялись за остальных. Дело двигалось медленно, народ стал нервничать. Тем более, что некоторые опаздывали на работу и требовали справки, что были незаконно задержаны. Других выловили после работы, и они кричали, что их ждут дома, что они хотят есть и пусть их рассматривают в первую очередь. Милиционер у телефона упарился до того, что на висках взмокли волосы. В конце концов он психанул и попросил капитана заменить его. Зайцев позвал сотрудницу из паспортного отдела. У той

получалось быстрее. Звоня на предприятие, она не мучалась, как милиционер, длинными объяснениями насчет того, что силами органов внутренних дел совместно с общественностью по решению горкома и горисполкома проводится проверка, целью которой является... У паспортистки был твердый каменный голос, она называла себя, ничего не объясняя, срочно требовала узнать, где в данный момент находится такой-то гражданин.

Но все равно управились только к вечеру. Остался один мужик, который отказывался называть свою фамилию.

— Поверьте, — метался он по опустевшему помещению, — у меня сегодня отгул. Я ни в чем не виноват перед обществом.

— Говорите фамилию, место работы, мы проверим. Не виноваты — пойдете спокойно отдыхать. Я ясно выражаюсь? — паспортистка начинала терять выдержку.

Мужик мялся, протирал носовым платком лысину. Наконец решился:

— Вы понимаете, я член партии. Вы представляете, если на работе узнают, что я был задержан органами?

— Ну и что? — удивилась паспортистка. — Кто вас обвинит, у вас отгул.

— Но я же коммунист! Как вы этого не можете понять! Это же такой стыд! Я даю вам честное слово — у меня отгул. Почему вы не верите честному слову?

— А кто ему сейчас верит? — усмехнулась паспортистка.

Мужик сел на скамейку, схватился за голову.

— Ладно, — сказал ему капитан Зайцев, — иди домой.

Мужик поднялся, повернулся к паспортистке:

— А вы говорите — никто не верит!

Когда он ушел, Зайцев последил за ним через окошко и изумленно качнул головой:

— Нет, вы слышали: я, говорит, коммунист и мне стыдно! Вот вам, корреспондентам, про кого надо очерки писать.

— А как писать, когда имя его неизвестно? — спросила девушка с радио.

— Вот так и пишите: имя его неизвестно, а подвиг его бессмертен.

Девушка слабо улыбнулась, потянула со стола сумку с диктофоном, — ну что, все на сегодня?

— Так точно, — сказал капитан, — думаю, что данных вы набрали порядком. А мне еще рапорт писать начальству, — он кивнул на раскиданные по столу листки с фамилиями тех, кто был задержан в пивной во время работы, и вздохнул — не повезло сегодня ребятам...

Мы попрощались с капитаном и пошли домой. На улице было холодно, ветрено. Снежная крошка секла по щекам.

— Вышить бы... — сказал я.

— А где? — помедлив, согласилась Светлана.

— Может, в кафе?

— В таком виде? — она отвернула полу пальто, показала на заправленные в сапоги штаны.

— Я знаю магазин — там продают.

Светлана кивнула. Я забрал у нее сумку с диктофоном, она взяла меня под руку, и мы побрели к магазину. В отделе «Соки—воды» я взял два стакана красного сухого вина. Мы сели за столик, за которым обычно едят мороженое, и не торопясь, по глотку, стали пить.

— Ты давно на радио? — спросил я.

— С полгода уже. Я раньше в школе работала. Спросишь, почему ушла?

— Не хочешь — не рассказывай.

— Не буду. Что-то устала я сегодня. — Светлана подняла на меня узкое, сероглазое лицо. — Противно это все — эти облавы, эти разбирательства...

— Но репортажи тем не менее мы с тобой делаем и всех выведем на чистую воду, — сказал я.

— Это само собой... ну что, пойдем?

Мы вышли к остановке.

— Я, к сожалению, живу в общежитии, — сказал я, — а ты?

— И я.

— Может, что-нибудь придумаем?

Она покачала головой:

— Не стоит. Вон автобус — я поехала. Спасибо за компанию.

Из автобуса она махнула мне рукой и даже что-то немо шевельнула губами.

* * *

На следующий день в редакции только и было разговоров об этой облаве. Кроме меня побывали в рейде в других районах города Яша и Муза Матвеевна. Яшина группа работала по предприятиям.

— Заходим на стройучасток, — рассказывал Гарфельд, — а там кируют. Вызвали машину и всех в вытрезвитель. А они, видать, в машине сговорились и уперлись — не хотят из машины выходить. Что делать? Их там человек пятнадцать. Вызвали по рации подкрепление, стали брать штурмом. Пришлось помахатьсья.

Яша убрал с уха волосы, кожа была рассечена. Эдик окликнул редактора:

— Анатолий Николаевич, посмотрите, какие героические люди у нас работают!

Редактор улыбнулся:

— Что ж, и пострадать иногда приходится — не без этого.

— Главное, чтоб за правое дело, — сказал Эдик и пожал Гарфельду руку. — А вас, Муза Матвеевна, бандитская пуля миновала?

Буланцева вздохнула, развела руками. Стала рассказывать, как проверяли кинотеатры, как выявили очень много студентов, которые должны были в это время сидеть на лекциях и работать в аудиториях.

— Самое поразительное, товарищи, — сказала Муза Матвеевна, — как они себя вели! Огрызались, сквернословили! До чего мы дошли!

Я не выдержал, рассказал про мужика, которого водил в туалет, про стыдливого коммуниста.

— Обязательно про это напиши! — сказал Володя. — Будет просто здорово!

Но начальству это предложение не понравилось. Рябова переглянулась с редактором и сказала, что не надо политиче-

скую акцию превращать в клоунаду. Этот товарищ, который отказался назвать свою фамилию, возможно, больной, поэтому надо либо проверить это, либо опустить этот случай.

— Потрясающе! — нервно воскликнул Володя. — Одному стало стыдно и тот больной, оказывается.

— Я сказала, — возможно, он больной, — а не утверждала этого категорически, — побагровела Рябова, — не надо, Владимир Петрович, передергивать и искать во всем подтекст!

* * *

Чуть ли не через день становилось известно о смещении министров. Этому радовались. Перед планеркой разговоры начинались с того, что кто-нибудь спрашивал: «Как вам новость насчет еще одного бывшего начальника?». Никаких подробностей газеты не сообщали, но всем было ясно, снимали правильно. Даже редактор сдержанно соглашался: да, довели товарищи свои отрасли до ненормального состояния, без наказаний не обойтись, партия вынуждена принять крутые меры. В редакции прошло открытое партийное собрание. Говорили о повышении ответственности. Выступил дядя Гриша, сказал, что материалы сдаются не вовремя, что на первую полосу нечего ставить. Слушали его еле-еле, он на каждой планерке это говорил, всем уже надоел своими жалобами. Рябова повернулась ко мне:

— А что вы скажете?

— У меня ни к кому претензий нет, — ответил я.

— Так уж и нет?

— Абсолютно.

— Откудова у него претензии, если они тут по вечерам свои претензии в тесном кругу обсуждают, — сказал дядя Гриша.

— А ябедничать, Григорий Иванович, нехорошо, — заметил Эдик.

Но Рябова не дала все свести в шутку. О наших выпивках в редакции знали, и сигнал дяди Гриши пришлось к месту. Навалились на нас целой компанией: Рябова, Буланцева, Зулина, редактор. Мы

слушали молча, а Эдик смотрел на каждого, кто клеймил нас, с таким вниманием, будто перед ним выступали его любимые артисты. Юлька сидела пуницкая, нервно перебирала пальцами поясok кофточки. В общем, министры нам на том собрании вышли боком. Правда, редактор и остальным всыпал, в том числе и дяде Грише, за то, что тот до сих пор не наладил работу по сетевому графику, как это делается в некоторых передовых газетах. Суровцев после собрания посочувствовал дяде Грише:

— Лично я, Григорий Иванович, против сетевого графика и поддерживаю вас в этой борьбе.

Дядя Гриша вытер мятым платком всякий костистый лоб и сказал:

— Стар я, Эдуард, с тобой шутки шутить. Одно скажу — распустились все кругом. Оттого и беспорядок такой везде. Но, слава богу, кажется серьезно взялись на этот раз.

* * *

На следующий день мы праздновали в редакции Новый год. Юлька, Миша и Яша выпустили стенгазеты. В центре поместили редактора, дядю Гришу и Рябову. Их, как трех богатырей с картины Васнецова, посадили на коней. Редактор показывал копьём-авторучкой на кучу угля и говорил: «Собирайся, дружина, на битву ратную!». Дядя Гриша в очках поверх шлема рассматривал карту местности, а Рябова держала над головой плакат: «Обязуемся закончить битву раньше утвержденного срока!». По бокам «трех богатырей» дружина вела штурм кучи. Эдик шел в атаку с клюшкой наперевес, Орлов, как палицей, размахивал над головой фотоувеличителем, Бурмакин толкал впереди себя огромную тачку. В тачке сидел Яша с отбойным молотком в руках. Юлька и Люда бежали с санитарными носилками. Буланцева с Зулиной в греческих туниках стояли на обочине дороги и играли на арфе. Меня изобразили рядом с Володей. Я тащил его вместе со всеми, а Кондратьев упирался и говорил: «О дайте, дайте мне

свободу, тогда пойду я уголь добывать!».

Газета поправилась. Около нее долго толпились. Никто не обиделся. Редактор даже встал между Рябовой и дядей Гришей и крикнул Орлову:

— Давай, щелкни нас для истории!

Миша мигом слетал за фотоаппаратом, мы сгрудились вокруг начальства и снялись на память.

После работы собрались в красном уголке. Сдвинули в один ряд столы. Женщины выставили домашнюю выпечку — торты, печенье. Поставили самовар. Насчет выпивки редактор предупредил заранее — никакого спиртного. Но, когда Анатолий Николаевич сказал речь, Эдик мигнул Люде, та открыла шкаф и вытащила оттуда поднос с фужерами и бутылкой шампанского. Редактор было нахмурился, но все одобрительно зашумели и он махнул рукой:

— Ладно, братцы, никуда теперь не денешься, — придется наливать.

Анатолий Николаевич пожелал нам всяческих благ в новом году, мы выпили по глотку шампанского и принялись за чай. Вспомнили, что интересного было в уходящем восьмьдесят третьем. Но без выпивки разговор быстро выдохся, и где-то через час мы стали расходиться.

— Пошли ко мне, — сказал Володя, — мы с женой вдвоем, никого не звали. Посидим, поговорим. Выпить есть, пошли.

Я подумал: они вдвоем, а мне что — любоваться на них? Но с другой стороны — куда податься? Подружки я себе не приготовил, не позаботился вовремя...

— Пойдем, — продолжал уговаривать Володя.

— Не знаю, — колебался я, — может, и подбегу, но попозже. Вы меня особо не ждите. Я тут с одной договаривался, надо созвониться, узнать, что и как. В общем, посмотрим.

Кондратьев ушел. Я посидел в пустом кабинете, несколько раз брался за телефонную трубку, но звонить было некому — старые связи оборвались, да и глупо было напрашиваться за несколько часов до

праздника. И я побрел в общежитие. Соседей моих не было. Я налил себе из новогоднего припаса полстакана водки, выпил и, не раздеваясь, завалился на кровать. Закрыв глаза и попробовал уснуть.

Ничего из этого не вышло. В коридоре, в комнатах по соседству топали, кричали, смеялись. Казалось, что там, за дверью, все так интересно, так таинственно. Я лежал и завидовал. Особенно не по себе было слышать приглушенный стенами женский смех. В конце концов я встал с кровати, сунул в дипломат бутылку шампанского и вышел из общежития.

Володя жил недалеко — в двух остановках. Дом был старый, с грязным холодным подъездом. Под ногами шуршала оберточная бумага. Дверь открыл Володя. Обрадовался, кинулся принимать у меня пальто, шапку. Крикнул жену. Из комнаты вышла красивая молодая женщина, посмотрела на меня с любопытством.

— Это Нина, — взялся знакомить нас Володя, — вот специально ради тебя новое платье надела.

Нина досадливо поморщилась, привалилась к косяку большим ленивым телом:

— Не обращайтесь внимания на моего дорогого муженька — он иногда заговаривает...

— Ну, Нина, что я такого сказал, — заморгал Володя, — ты же сама говорила...

Нина вздохнула и, не глядя на мужа, пригласила меня в комнату.

Квартира у Кондратьевых была небольшая и какая-то неухоженная: с залоснившимися обоями, со щербатым полом. Одну стену занимали полки с книгами. Я пробежал глазами по корешкам: почти все поэзия. Русская, китайская, английская, испанская. Были редкие книги: Пастернак, Рильке, Ахматова, Мандельштам.

— Богато живете! — не удержался я.

— Куда уж там, — усмехнулась Нина, — с нашим богатством можно на паперть идти.

Она покосилась на обшарпанный платяной шкаф в углу комнаты и еще раз усмехнулась. Володя подмигнул мне, взял с

полки «Справочник по акушерству», открыл. В книгу было вложено несколько листов тонкой папиросной бумаги.

— Вот, — сказал Володя, — одно письмо, почитай.

— А в этой книжке для конспирации прячешь? — кивнул я на «Справочник по акушерству».

— Ага, — засмеялся Володя и повернулся к жене, — ну что, Нин, давай на стол собирать.

— Давай, — сказала Нина, и Володя оставил меня с письмом, пошел за женой на кухню.

Пока они носили на стол тарелки, я читал письмо Эрнста Неизвестного Эренбургу. Конечно, я кое-что знал об эпохе Сталина, мне даже казалось, что я знал об этой эпохе больше многих других, и книгу Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь», по поводу которой и написал письмо Эрнст Неизвестный, я читал, но то, что было скрыто на нескольких листочках папиросной бумаги, меня ошеломило: неужели это правда?

— Володя, — сказал я, — в какой стране мы живем?

Кондратьев подошел ко мне, пролистнул листочки и нервно бросил их на полку:

— Мы живем по колено в крови. И молчим, и прячемся в «Справочниках по акушерству»! Противно на себя смотреть!

Я не понял, чего это он вдруг расписывался. То подмигивал, а то вдруг как сорвалось в нем что-то. Схватился за папиросу, несколько раз подряд затянулся:

— Гадство все это.

— Вова, — сказала Нина, — может, мы Новый год отменим и политдиспут устроим?

Володя ткнул папиросу в пепельницу:

— Все, Нина, садимся.

Выпили за старый год. Я сказал, что этот год был историческим и не только в смысле смены власти, в этот год я познакомился с одним из самых свободолюбивых граждан нашей округи Владимиром Кондратьевым, его красавицей женой. Володя нервно дернул щекой, а Нина слегка

встрепенулась, приоткрыла рот, будто собиралась что-то сказать, но передумала и медленно провела кончиком языка по верхней губе. Я спросил Нину о дочери.

— Надо, конечно, ее забрать сюда, — сказал Володя, — я уже сто раз пожалел, что оставил ее у бабушки.

— Не у чужих же она, — покосилась на него Нина, — пусть поживет. Думаешь, я не скучаю? Но что делать?

— Что? Забрать сюда и все.

— Куда забрать? Сюда? — Нина обвела глазами комнату. — Меж собой положим? Или в обеденный перерыв будем встречаться?

Я заторопился погасить эту их старую ссору, сказал, что в редакции с квартирами получше. Через два, максимум через три года можно получить.

— А ты мне говорил, что через год-полтора, — повернулась к мужу Нина, — а, Вова?

Володя смотрел в стол.

— Вполне может быть и так, — сказал я. — Тем более у вас только расширение. И вообще пора уже про Новый год вспомнить.

К полуночи мы еще успели пару раз приложиться. Володя много ел, заставлял меня попробовать всего, что было наготовлено. Хвалил жену. Нина улыбалась и, склоня голову набок, по-кошачьи терлась щекой о плечо. В двенадцать, когда по телевизору закончили читать обращение к советскому народу и начали бить куранты, я открыл шампанское. Володя обнял жену, потом меня, Нина положила мне на плечо тяжелую ласковую руку и мы, тесно встав в кружок, выпили за новое счастье.

— А сейчас конкретно за каждого, — сказал Володя и налил еще, — кто начнет?

Начал я. Пожелал Кондратьевым большой квартиры и персонально свободной комнаты для Володи, кроме того, Володе издать свои стихи, а Нине на гонорар съездить во Францию, чтобы здесь все сошли от зависти.

— А тебе — жениться в этом году, — сказал Володя.

— Не слушай моего мужа. Семья — это... Лучше заведи еще одну любовницу, — засмеялась Нина.

Она заметно захмелела, стала еще медлительней в движениях. Эта ее медлительность зажигала, вызывала темные желания. Мы заговорили о любовниках и любовницах — надо ли их иметь, хорошо это или плохо.

— Ты думаешь, у Вовочки их нет? — повернулась ко мне Нина, — как бы не так! Скажи, Вовочка?

Володя неуклюже подмигнул мне.

— Но я ему тоже рога наставила, — рассмеялась Нина, — так что пусть не радуется.

— Когда это? — слегка растерялся Володя.

— Тогда, Вовочка, тогда. Вслед за тобой.

— Вот это да...

— А ты как думал? У нас равноправие. И свобода. Тебе же нравится свобода?

Я думал, они поссорятся — разговорчик получался не шуточный. Но все обошлось. Может, Володю успокоило то, что жена улыбалась, и он не принял ее признание всерьез, а, может, он вообще был не ревнивым. К тому же он и сам был грешен. На всякий случай я налил еще по рюмке и сменил тему: попросил Володю почитать стихи. Володя не стал отнекиваться — отер ладонью щеки и стал читать. Как и тогда, в первый раз у редактора, он, откинув голову, смотрел куда-то мимо нас. Володя прочитал три стихотворения — три печальных и вместе с тем полных иступленной страсти стихотворения о любви. Одно, последнее, было почти напрямую обращено к жене, и все в нем было так оголено, что я почувствовал себя лишним среди них.

— Ну, Кондратьев, — сказала Нина, — если бы ты еще так же гвозди в стену заколачивал, цены бы тебе не было.

Она обняла Володю, качнулась вместе с ним.

— Может, потанцуем? — спросил Володя, — можно свечку зажечь.

Он сходил на кухню, принес огрызок свечи, укрепил его в рюмке.

— А как меня делить будете? — прищурилась Нина.

— Мужу — право первого танца, — сказала я.

— Нет — тебе. Ты гость, — запротестовал Володя.

— Ну и мужички пошли — отпихиваются от женщины обеими руками, — засмеялась Нина, — придется самой выбирать.

Она поднялась и, покачиваясь, обошла вокруг стола.

— Буду послушной мужу — приглашу гостя.

Нина танцевала хорошо. Ее большое тело чутко отзывалось на движения моих ладоней и пальцев. Оно легко подчинилось, когда я подал его ближе к себе. И тут же почувствовал, как обманчива была в Нине ее медлительность, ее ленивость.

— Ах, не буди во мне зверя, — вздохнула она и облизнула губы, — я женщина рисковая...

Я взглянул через ее плечо на Володю: он сидел спиной к нам и ел. Нина заметила мой взгляд:

— Деликатный у меня муженек — прямо хоть на Доску почета вешай.

Она царапнула мне горло, потянулась пальцами к щеке.

— Сейчас на Доски почета не деликатных вешают, — сказал я, — деликатных сейчас в Красную книгу заносят. Так что можешь гордиться своим мужем — он у тебя уникальный экземпляр.

— Уникальный — куда уж там... — прерывисто хохотнула Нина, — только из его уникальности штанов не сошьешь. Надоело все — эти его разговоры про политику, про свободу. Лучше бы деньги зарабатывать научился.

— Мне кажется, ты к нему несправедлива, — сказал я осторожно.

— Ладно, уговорил, — Нина вздохнула и оттолкнула меня от себя, — все — спасибо за беседу.

Она прошла к столу, обняла Володю и поцеловала его в висок:

— Ты, Вовочка, замечательный советский человек, как сказал твой друг, но танцевать мне расхотелось. Давайте лучше выпьем еще.

Допили, что осталось. Нина заставила нас отвернуться, достала откуда-то флакончик медицинского спирта. Его было немного, каждому вышло граммов по пятьдесят. Володя опять было завел разговор про политику, но Нина со злинкой в голосе прикрикнула на него и велела нам собираться на улицу — кататься на горке.

На улице было шумно — люди шли к площади Маяковского, где стояла городская елка и был сделан зимний городок, перекликались на ходу. На мосту через реку, перед площадью группа парней и девушек, встав в кружок, играли в «бутылочку». Нина кинулась в их сторону:

— Возьмите в компанию, мальчики!

— Заходи, девочка!

Володя удержал жену. Нина стала упирается:

— Мальчики, а меня не пускают!

— Правильно делают! — крикнула какая-то девушка, — нам своих не хватает!

Пошли дальше. Спустились на площадь к елке, втянулись в беспорядочный людской хоровод. Толпа вытолкнула нас к снежной горке. Вершина ее была сделана в виде огромной головы льва. Через его раскрытую пасть и вываливался народ на ледяную дорожку.

— Пошли кататься, — потребовала Нина.

Мне не хотелось. Володе — тоже.

— А ну вас, — сказала Нина, — одна пойду.

Она полезла на горку и потерялась среди крика и смеха. Володя посмотрел ей вслед, закурил. Он молчал, ежился, хотя было не так уж холодно. Подбежал мальчишка, стрельнул у Володи папиросу.

— Зачем дал? — спросил я, — рано ему еще.

— А-а,— Володя повел плечом,— все-таки Новый год...

— Что-то тебя этот год не особо радует. Чего скис?

— Да нет, я ничего... Перебрал, наверное, слегка...

Он как бы встряхнулся: поправил шапку, притопнул ногами. Но хватило его ненадолго: опять потух, втянул голову в плечи. Достал еще одну папиросу, прикурил ее от старой и сказал:

— Что-то мне на самом деле не по себе. Как-то неправильно я живу. Дергаюсь, лезу, куда не просят... Кому это надо? Да и вообще... С женой вот, оказывается, такая ерунда получилась...

Володя закрыл ладонью лицо, подержал так и медленно опустил руку.

— Пойду поищу Нину.

Он ушел за горку. Я не стал его ждать и побрел вокруг елки. И встретил Светлану — девушку с радио, с которой вместе освещали рейд по борьбе с пьяницами. В короткой пятнистой шубке с капюшоном она стояла рядом с какой-то компанией. Светлана первая увидела меня и окликнула. Я обрадовался встрече, это было похоже на неожиданный подарок. Сказал об этом Светлане. Она засмеялась и взяла меня под руку:

— Пойдем отсюда?

Мы поднялись на мост. Я рассказал Светлане, как здесь только что крутили бутылочку.

— Предлагаешь и нам этим заняться? — она легонько толкнула меня в бок.

Я приобнял Светлану и, склонясь, быстро поцеловал ее в холодную щеку. Она засмеялась и рукой в варежке провела по моему лицу. Варежка была мягкая, теплая... Мы прошли мост и повернули на тихую темную улицу, которая вела к моему общежитию. Светлана ни о чем не спрашивала, рассказывала всякую чепуху, а я, слушая ее, гадал: есть кто в комнате или нет? Подошли к общежитию. Окно в комнате, где я жил, было темным. Но ключа у вахтера не оказалось — значит, кто-то уже взял. Я оставил Светлану в

вестибюле, а сам побежал к себе. Комната была закрыта — изнутри торчал ключ. Я постучал и прислушался. За дверью было тихо. Я собрался постучать еще раз, но тут за дверью пропелестел женский смехок и все стало ясно. Я вернулся к Светлане.

— Нас опередили, увы...

— Увы,— с улыбкой вздохнула Светлана,— увы и ах... И у меня то же самое... Прямо как специально. Ну что, пойдём дальше мерзнуть?

Мы вышли на улицу. Вернулись на площадь, где стояла елка. Там уже почти никого не осталось. Мы обошли вокруг елки — я высматривал Володю с женой: но не увидел их. Мы побрели куда глаза глядят. Торопиться было некуда. Светлана рассказала, как «зарезали» ее передачу про ребят, вернувшихся из Афганистана:

— Представляешь, про то, как они воюют там,— нельзя, про то, что их там убивают,— нельзя. Вам, в газете, хорошо — можно как-то закамуфлировать, а я же их живые голоса записала. Что, снова к ним идти: ребятки, скажите мне, что вы там делали, только сожмите маленькую? Так, что ли? Прямо свинство какое-то...

— У нас один парень — я тебе о нем рассказывал, все это называет гадством,— усмехнулся я.

— Это который Володя?

— Который... Я, кстати, у него Новый год встречал.

— Ну и как встретили?

Я пожал плечами, подумал:

— Как тебе сказать... Я, может, для них и не лишний был, а вот сам себе... Не знаю,— как это тебе объяснить...

Светлана вдруг остановилась, повернулась ко мне:

— Не надо объяснять, ничего не надо объяснять...

Я схватил ее, маленькую, в охалку, стал целовать. Она привстала на цыпочки, и снег поскрипывал под носками ее сапожек. Вокруг никого не было — только деревья и скамейки. Мы топтались на тропинке посередине сквера. Потом слышали

неподалеку голоса — кто-то шел через сквер — и отпустили друг друга.

— Проводи меня домой, — сказала Светлана.

Я довел ее до общежития и спросил:

— Может, у тебя уже ушли?

Светлана покачала головой:

— Нет, они еще не ушли. Ты не беспокойся — я где-нибудь найду себе место. Спасибо тебе, что встретился.

Она сняла варежку, погладила меня по щеке и ушла.

Я вернулся в свое общежитие, потарабанил в дверь своей комнаты. Мне не сразу, но открыли. Не зажигая света, я разделся, лег. Закрылся с головой одеялом и уснул.

* * *

Новый, 1983 год начался как и все предыдущие годы: две недели подряд мы печатали сообразительности трудовых коллективов. Занимали ими всю первую полосу и часть второй. Работа была халтурная: сообразительности приносили в редакцию уже отпечатанными, оставалось расставить абзацы и заслать в набор. Планерки проходили скучно: обсуждать было нечего. Третья полоса у нас была международной — там шли тассовские материалы, на четвертой давали объявления, спорт и иногда хронику культурной жизни. Юлька как-то попыталась покриковать Эдика за то, что у него нет проблемных материалов, но ее никто не поддержал. Даже Володя, хотя она на него и оглядывалась, промолчал. Когда расходились, Суворовцев приобнял Кондратьева:

— Что ж ты, старичок, не подмогнул Юлии Борисовне — поставил девушку в неудобное положение?

Юлька фыркнула, а Володя хмуро улыбнулся и пошел к себе в кабинет. Все это время после праздника он был не в духе: не выходил в коридор потренироваться, в столовой наспех проглатывал обед и, виновато помаргивая, вставал из-за стола. С работы уходил раньше положенного. Забегал ко мне и просил:

— Если что, скажи, что я по делу ушел...

* * *

На следующий день после того, как Юлька выступила на планерке, я пришел в редакцию, когда еще ни в одном окошке не горел свет. Я пришел пораньше, чтобы сделать разметку гонорара, пока никто не мешает. Когда проходил мимо кабинета Кондратьева, услышал за дверью храп. Постучал.

Дверь открыл Володя. У стены, ближе к окну, были сиденьями друг к другу в два ряда составлены стулья, на них лежало пальто.

— Ты что, ночевал тут?

Володя потер ладонью лицо:

— Да... Меня это ... жена из дому выгнала.

— Как — выгнала?

— Сказала, чтоб катился на три буквы. Вот и все.

— А ты?

— Как видишь, — Володя взял со стола графию, запрокинул голову и стал пить прямо из горлышка. Жидкие струйки воды сбегали из уголков губ по натянувшейся шее за мятый ворот клетчатой рубахи.

— За что она тебя так? — спросил я.

— Денег много пропил, — Володя помолчал, — почти пятьдесят рублей.

Он поднял пальто и стал расставлять стулья.

— Когда это ты умудрился?

— Вечером, после работы.

— А с кем кирил, если не секрет?

— Когда с кем. В основном у Ильи. Это — поэт.

Володя достал из портфеля электробритву, подошел к окну и стал бриться, смотря в темное еще стекло, как в зеркало.

— Я сейчас чай поставлю — прибегай, — сказал я.

Володя принес бутерброды:

— Вчера успел в кафетерий забежать, взял, а настроения чего-то не было...

Кондратьев, обжигаясь, пил чай крупными глотками. На бледном чистом лбу его проступал пот. Поставив стакан на стол, взглянул на разметочную ведомость:

— Причитается мне там что-нибудь?

— Шесть рублей ноль-ноль копеек. Не деньги, а слезы. Но ничего — сообразательства кончаются, в следующие полмесяца заработаешь. Так что давай, пиши.

— Что писать? — равнодушно спросил Володя. — Зачем?

Он поднялся, посмотрел мимо меня в окно и с усмешкой пропел:

— Ах, зачем мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе...

Хлопнула входная дверь. Послышался надсадный скрип сапог.

— Шеф, — определил я, — его сорок третий с половиной.

— Доброе утро, — приостановился у двери Анатолий Николаевич, — трудимся?

Он был в хорошем настроении, улыбался.

— Пашем как пчелки, — сказал я, — на благо родного коллектива.

— Я раньше тоже любил утречком работать... Никто не мешает, тихо, спокойно... — редактор снял шапку, пригладил волосы, — я тогда рассказики пробовал кропать, басни... И вот, сколько накропал, все, считай, с восьми до девяти утра.

— Так вы, Анатолий Николаевич, что — писателем были? — спросил я. — Вот это новость.

Редактор махнул шапкой:

— Какой там писатель — так, баловство по молодости лет... Хотя, помню, кое-что получалось. Время тогда было... интересное было время...

— Оттепель, — сказал Володя.

— Что оттепель? — не понял редактор.

— Время ваше так называлось.

— А, вон ты о чем... Да, был такой роман, помню...

— Вам повезло, Анатолий Николаевич, — задиристо сказал Володя, — глотнули свободы. А нам выпало сплошное белое безмолвие и никакого просвета.

Редактор еще продолжал улыбаться, но брови уже дрогнули и поползли навстречу друг другу.

— Что, разве не так? — спросил Володя.

Редактор приподнял плечо и резко опустил:

— Работать надо, ребятки, работать, а не скулить!

И он ушел.

Володя, усмехаясь, посмотрел ему вслед. Потом вздохнул, выбрал из пепельницы окурочку:

— Жалко мужика.

День выдался длинный, муторный. В обед долго играли в шахматы. Обычно это не обходилось без анекдотов, шуточек, а тут все как будто выдохлись: молча смотрели, дымили... Только Иван Сергеевич Бурмакин, переставляя фигурки, машинально приговаривал: «А вот мы коника, двинем, а вот мы вас пешечкой припррем...» Он выиграл у меня, у Володи, у Яши, только с дядей Гришей свел на ничью.

— Ну, ладненько, — сказал Бурмакин, — теперь можно и посочинять чего-нибудь.

— Вот я заметил, что вы только про положительных людей пишете. Неужели они все такие хорошие? — спросил Володя.

Бурмакин ответил не сразу. Склонив голову, пригладил на затылке редкие серебристые волосы. Потом, потягиваясь, выпрямился, широко и легко вздохнул:

— Ах, Володя... Думаешь, посадил старика в лужу? Ушел, мол, в тину, пескарь этакий?

— Я так не говорил, — нервно сказал Кондратев, — хотя...

— Вот именно... Но я отвечу. Вот, представь себе, лежит на дороге камень. Он мешает, его бы надо убрать. Но камень тяжелый, не под силу. Объективно не под силу. Может такое быть?

— Ну, может, — хмуро сказал Володя.

— Так что ты предлагаешь? Пупы надрывать? Ты хотел бы видеть людей с надорванными пупами? Прежде чем народ к оружию звать, надо это оружие иметь.

— Ты это о чем, Иван? — спросил дядя Гриша.

— Володя меня понял, я надеюсь?

— Да, я вас понял, — сумрачно сказал Кондратев.

— Так вот — есть у тебя это оружие?

Нет его у тебя. Может быть, в будущем оно появится. Но пока его нет. А звать безоружных на амбразуру — это преступно. Я преступником быть не хочу. Вот так, молодые люди.

И Иван Сергеевич еще раз огладил свой серебристый затылок.

— А Кондратьев, значит, по-вашему, преступник? — спросил я.

— Он хороший человек, но ему не достаёт мудрости, что, впрочем, вполне объясняется его возрастом. Но это тот недостаток, которому можно позавидовать. Так, Григорий Степанович?

— Да уж, старость — не радость, — сказал дядя Гриша.

Володя поднялся и пошел к двери. На пороге остановился, обернулся:

— Вы, конечно, во многом правы, Иван Сергеевич, но я по такой правде жить не хочу.

И, как-то нехотя, сгорбясь, он перешагнул порог.

К концу рабочего дня Володя попросил у меня займа денег. Сказал, что собрался опять к Илье. Мне тоже хотелось выпить, и я напросился вместе с ним.

* * *

Илья будто ждал нас за дверью:

— Милости прошу!

Он приобнял Володю и, подавая мне руку, спросил: не обижаем ли мы в редакции их поэта?

— Что вы, Илья Ильич, он для нас что луч света... — сказал я.

Володя махнул рукой и сердито буркнул, что его скоро выгонят.

Мы прошли в комнату. Там двое парней играли на диване в карты. Одного — поэта Мишу Куликова — я знал, другой — остролицый — был мне незнаком. Миша сразу спросил: принесли? Володя показал на портфель. Куликов собрался было тут же бросить карты, но остролицый прикрикнул на него и они стали доигрывать.

Илья принес закуску, стаканы. Анатолий Борисович (так представился остролицый) налил себе воды и сказал тост:

— За то, чтоб поэтам водку давали бесплатно и в невероятных количествах.

Не успели передохнуть, как он налил всем опять и повторил тост.

— Спаиваешь народ? — спросил я.

Анатолий Борисович аккуратно дожевал ломтик сыра, запил его водой:

— Дело-то в чем? Им же, трезвым, смотреть на себя очень тошно, поскольку сочиняют они в основном всякую ерунду. Обрати внимание хотя бы на этого гражданина, — остролицый показал на Мишу, — пишет про героический труд, а сам план не выполняет. К тому же не делает зарядку, отчего и такой толстый.

Куликов лениво покосился на нас и запыхтел сигаретой. Илья пощипывал рыжеватую с проседью шкиперскую бородку, добродушно усмехался.

— Так я к чему все это веду, — продолжал Анатолий Борисович, — поскольку они поэты, то от этого очень совестливые и страдания их можно облегчить только алкоголем. Поэтому предлагаю еще по одной!

— Представляешь, — повернулся ко мне Илья, — и мы этого подлеца терпим!

Он рокочуще хохотнул и обвалился на спинку кресла.

Пришла его жена — длинноногая молодая женщина. Звали ее Ритой. Она выложила на стол ветчину, банку консервов и сказала, что будут еще гости — целая компания. Они побежали в магазин.

— Правда, Вербин с ними, — вздохнув, сказала Рита.

— Ну, это тогда будет очень интересно здесь, — деловито потер руки Анатолий Борисович, — это будет очень даже замечательно!

— Не бойся, все нормально будет, — сказал Куликов, — если что, я беру Леху на себя.

Я знал Вербина. Он был инвалидом — по локоть на правой руке носил протез. Последнее время Вербин стал спиваться, несколько раз приходил в редакцию просить денег. Чтобы отвязаться, ему давали рубль-другой.

Вербин пришел трезвый. Покопался на меня, на остролищего, шумно поздоровался с остальными. Вместе с ним пришли рыже-волосая девушка и скуластый паренек.

— Для тех, кто не знает, — сказала Рита, — это Марина и Паша. Кстати, может, для товарищей журналистов будет интересно — Паша был в Афганистане.

— Да, старичок, возьми это на заметку, — повернулся ко мне Илья, — геройский парень, награжден медалью, — и стихи пишет.

Илья предложил выпить за Афганистан. Все согласно кивнуло, согнали с лиц улыбки и уже понесли стаканы ко рту, но тут остролищий вдруг сказал:

— Обождите, мужики! Вы уточните, за что пьете? За ввод нашего ограниченного контингента или за что другое?

Вербин недовольно покосился на остролищего:

— Куда-то ты не в ту степь погнался, дай народу поначалу мозги прочистить.

— Нет, ну ежели вам все равно, то за ради бога, — развел руками остролищий.

Паша молча слушал этот разговор. Только ноздри подрагивали. Это было сильно заметно. Но он молчал — даже глаз не поднимал от стола.

Вышла заминка. Не было бы с нами бывшего «афганца», все бы разошлось само собой, но присутствие Паши сковывало: боялись его обидеть.

— Вообще-то это принципиально, — сказал Володя, — но тут разговор длинный... Давайте выпьем за тех, кто там был.

— И кто оттуда не пришел, — добавил Паша, — за Димку Меньшикова, за Игоря-ка Голышева.

Не дожидаясь нас, он выпил. Миша Куликов промокнул рукавом свитера губы, закурил и нацелился на Пашу. Стал говорить, что в Афганистане нашим нечего делать, что мы там оккупанты, и эта война — позор нашей страны. Миша говорил все, в общем, то же, о чем спорили в курилках, но получалось так, что он как бы винил Пашу, а это было несправедливо, и первой на защиту Паши бросилась рыже-

волосая. Горячась и стесняясь своей горячности, она накинулась на Куликова: как можно Павла назвать оккупантом? Это жестоко! Паша выставил перед собой ладонь — спокойно, Марина, не суетись. Куликов стал оправдываться — лично против Паши он ничего не имеет, но от слов своих не отрекается. Илья предложил еще по граммულке. Выпили без тоста. Вербин, уже заметно побледневший — а он бледнел, когда пил, положил Паше на плечо свою культю и сказал, чтобы Паша не обращал на нас внимания, потому что все мы — выпивая интеллигенция.

— Вы! — повернулся к нам Вербин, — кто вы есть? А он видел смерть!

Он плеснул себе и Паше:

— За тебя, старик!

Выпили все. Володя, навалившись грудью на стол, стал расспрашивать Пашу: много ли наших гибнет в Афганистане, много ли гибнет их, афганцев, что наши солдаты думают об этой войне. Паша отвечал: наших гибнет много, а душманов еще больше. В какой-то момент он сорвался:

— А то, что там зубы валяются от цинги, вы знаете? А когда наши их кишлаки бомбят, то никто не разбирается — есть там бабы и ребятишки или нет? И мы пленных не берем. Ни одного! Всех на месте! Потому что там все не так, как в газетах! В газетах мы только продовольствие по кишлакам развозим. А-а, — Паша ударил кулаком по кромке стола, поискал на столе папиросы. Закурил, — ладно, хорош об этом.

— Крепко он, старик, вас задел, а? — хохотнув, повернулся ко мне Илья.

— Это претензии не к нам, — огрызнулся я, — к министерству обороны.

— Дело не в министерстве, — выпрямился Володя, — тут система... Все кругом завралось... Всем мозги запудрили. В том числе и тебе, Паша. Я тебя бесконечно уважаю, но ведь и ты считаешь, что за правое дело там был.

— Откуда ты знаешь, как я считаю? — сказал Паша.

— Если не прав, извини. Я тебя ува-

жаю. И это я не по пьяному делу говорю, это...

— Я понял,— Паша посмотрел на Илью,— может, еще по маленькой?

— Давайте, мужики. И стихи читаем.

Первым уговаривали почитать Пашу, но он отказался. Предложили рыжеволосой. Она, уже раскрасневшаяся от вина, запрокинула голову. Под натянувшимся свитерком выпятились круглые груди. На них мужики и поглядывали, пока Марина читала свои искренние, но неумелые стихи о любви.

— Очень впечатлительно,— сказал остролицый, когда Марина закончила.

Девушка растерянно улыбнулась: не поняла, серьезно это сказал остролицый или пошутил. Но тут вмешался Вербин. Он был уже крепко пьян, но еще держался, говорил осмысленно и внятно. Вербин повторил одну строку из стихотворения рыжеволосой — строку в самом деле удачную, и сказал, что с Мариной надо поработать над ее стихами и он за это дело берется. Все поняли, что хотел Вербин, и, кроме Илья, стали тоже предлагать девушке свою помощь. Она весело всем улыбалась и со всеми соглашалась.

Потом читали все остальные. Я слушал их так же, как когда-то в первый раз Володю. Я не ожидал услышать от них то, что услышал. Я знал их некоторые стихи — они печатались у нас в газете. Стихи были грамотные, но какие-то как бы отполированные. А тут вдруг будто другие люди открылись передо мной. Леша Вербин, почти законченный алкоголик, вдруг прочитал такое горькое и светлое стихотворение, что я даже не поверил поначалу, что это Вербин написал. Леша, тяжело усмехаясь, ткнул меня култей в плечо: вот так, старичок. Илья прочитал два стихотворения: одно — детское воспоминание об оккупации в Киеве, другое — о застывших столах колымской земли.

— У вас кто-то был репрессирован? — моргая, спросила Марина. Илья кивнул:

— Да, мой отец и дядька там остались...

Куликов, читая, сбивался, тер ладонью

лысеющий лоб, вспоминал. Он читал маленькую поэму о красном знамени. Первые строфы мне не показались интересными: что-то хрестоматийное о цвете знамени, как цвете крови, пролитой революционерами в борьбе за свободу, равенство и братство. Но поэма вышла на новый виток и уже не капли, а реки крови обагрили знамя и залили начертанные на нем золотой вязью великие слова. Куликов поднес ко лбу пальцы, помедлив, продолжил. Как кирпичики он складывал слова о полководце крови, о том, что стало, когда оно вдруг схлынуло и бросилось на наши лица и цвет стыда окрасил наше знамя... Когда Миша закончил чтение, все какое-то время молчали, потом разом заговорили. Поэма понравилась, и мы выпили за нее.

Володя прочитал нежное, доброе стихотворение, посвященное своей дочери, и еще одно о себе — печальное и щемящее. Мне оно очень понравилось — даже в горле запершило. Рыжеволосая глядела на Володю с обожанием:

— Как здорово, все-таки!

— Здорово, конечно, ничего не скажешь,— произнес Анатолий Борисович,— но уж очень пессимистично. Социального оптимизма маленько не хватает, а так все замечательно.

Паша читать отказался. Сказал, что в другой раз. Илья попросил прочитать его какое-то старое стихотворение про свинцовую пчелу, но Паша покачал головой: нет, это все не то, в другой раз. Вообще, он как-то сник, курил одну сигарету за другой.

— Ну, тогда я домой,— поднялся Анатолий Борисович.

Мне вздумалось его удержать.

— Дело-то в чем,— сказал остролицый,— новенькое я послушал, наслаждался от души, а все, что дальше будет, уже наперед известно. Так что бывайте!

Он сунул каждому узкую твердую ладонь и ушел.

Мы допили вино. Вербин несколько раз порывался сказать речь, но тело и язык уже

плохо слушались его и в конце концов он ткнулся лбом в стол и замер. Куликов с Володей перетащили его вместе с креслом в угол комнаты и прикрыли какой-то тряпкой. Рита сделала чай, но пить не хотелось — для похмеля мы еще не успели. Я не выдержал и спросил ребят, почему они приносят в редакцию совсем не то, что читали здесь.

— Что Родина просит, то и несем, — добродушно хохотнул Илья.

— Напечатай поэму! — сказал Куликов. — Гонорар пропьем.

— Был бы я начальником, — я развел руками, — не задумываясь...

— А может, как-нибудь попробовать? — сказал Володя. — Поговори с шефом, он к тебе хорошо относится. Вдруг получится?

— Стихи вообще-то через Зулину идут. Сначала — надо уломать. А Марианна — баба еще та.

— Но, как говорится, нет женщины, которую нельзя было бы уговорить, а есть мужики, которые плохо уговаривают, — засмеялся Илья.

Мы с Володей пообещали, что беремся обработать Марианну, а если с ней выгорит, то я возьмусь за шефа.

— А вообще, — сказал Володя, — хорошо бы такую газету издавать, чтобы все можно было печатать.

— Тогда, старичок, надо прежде еще одну революцию сварганить, — подмигнул Кондратьеву Илья, — только так.

— А что? — сказал Куликов, — создаем боевую дружину. Папу — главнокомандующим. Опыт у него — будь здоров! А, Пап?

Папа тяжело поднял голову:

— Если надо, мужики... всегда готов...

— А я медсестрой, — обняла Папу рыжеволосая, — у меня даже корочки есть.

— А с Лехой как? — кивнул на Вербина Илья, — берем его в подпольщики?

— Леха — старый боец. Он у нас комиссаром будет, — сказал Куликов.

— Надо только будет его к седлу привязывать, чтобы не свалился, — засмеялась Рита.

Разговор шел вроде пустой, но тянулся и не отпускал. Заговорили о смещении министров, об арестах кое-кого из хапуг, о том, как об этом приходится читать между строк, и Илья привычно хохотнул: «Точно, мужики, надо создавать подпольную газету». Куликов сказал, что у нас в городе уже ходят такие самиздаватские шуточки. Сам он, правда, не видел, но ему рассказывали. И в них вроде печатаются отрывки из «Архипелага ГУЛаг» Солженицына, который передают по «Немецкой волне». Володя встрепенулся: как бы познакомиться с теми ребятами, которые это все делают? Куликов усмехнулся: не только ты желаешь с ними познакомиться. И добавил, будто бы подписываются они как «Новые патриоты».

— А почему новые? — спросила Марина.

Куликов пожал плечами:

— Наверное, потому, что старые уже надоели...

— Вообще-то патриотом нельзя быть старым или новым, — сказал Илья, — патриот он и есть патриот.

— А кто у нас считается патриотом? — повернулся к Илье Володя, — кто громче всех в ладони хлопает тем, кто больше всех врет? У нас все есть — ура! Советское — значит отличное! Наша демократия — самая лучшая демократия в мире! Это, что ли, патриотизм?

В конце концов договорились до того, что надо создавать нелегальную организацию «Честные люди» и разоблачать тех, кто врет.

— А главнокомом будет Пашенька, а комиссаром — Леша, да? — засмеялась рыжеволосая. Ей, видно было, нравилась эта острая игра. Она смотрела на нас, возбужденно поблескивая глазами, подаваясь навстречу к каждому из говоривших.

— Нет, мужики, если серьезно, — гнул свое Володя, — надо же что-то делать...

Пора было расходиться по домам. Куликов растолкал Леху и объявил ему, что он избран комиссаром тайного общества. Леха, еще пьяный и до конца не просну-

пийся, плохо держался на ногах, таращил на нас мутные глаза. Куликов помог ему одеться, взял под руку:

— Все, Леха, с пьянкой завязывай. Комиссарам не положено.

Вербин попробовал выпрямиться:

— Комиссарам все положено...

Илья с женой оставляли Володю ночевать, но он сказал, что пойдет домой.

Мы вышли на улицу. В синем огне фонарей мелькали редкие снежинки. Дул сильный ветер, и воздух казался чистым. Марина глубоко вздохнула и развела руки:

— Как хорошо... Правда, мальчики?

Леха качнулся к ней, ухватился здоровой рукой за ворот ее пубки. Паша встрепенулся, подал вперед плечо. Куликов оттащил Леху от девушки и повел его домой. Марина с Пашей прощались с нами до остановки. Прощаясь, Марина подала нам теплую нежную руку.

— А когда будет очередное заседание тайного общества?

— Мы тебе сообщим! — сказал я.

Они ушли. Мы с Володей сели на автобус и поехали. Он — к жене, которая его выгнала, я — в общежитие, где меня никто не ждал.

Дорога была разбитой и нас подкидывало и мотало из стороны в сторону. На душе было невесело. Я вспомнил стихотворение, которое услышал у Ильи, и упрямил Володю прочитать его еще раз. Кондратьев втянул голову в плечи, посмотрел в окошко:

Бесполезно я руку поднял —
Ничего не свершу, не нарушу.
Не отломится камень от скал,
Мановенье не даст ему душу.
Бесполезно дал силу плечу:
Все пребудет таким же, как прежде.
Разве только как птица взлечу,
Как нелепая птица в одежде.
Налетаюсь, потом опущусь
С тем же бытом, оставленным, вровень,
Примагниченный тяжестью чувств,
Поскользнувшись на собственной крови.

— Хорошо, — сказал я.

— Сырое еще. Да и правильно этот па-

рень сказал — тоскливо получилось.

— Жизнь такая, — я приобнял Володю, — но ничего! Вот начнем выпускать листовки, веселее будет.

— А здорово было бы, а? Если бы по правде что-нибудь такое сделать?

Я не понял: шутил он или всерьез говорил. Тут объявили его остановку.

* * *

В понедельник Буланцева ушла в отпуск. Володе пришлось взять на себя ее работу. Через день я зашел к нему. Володя сидел за столом и очумело смотрел на разбросанные перед ним письма.

— Что, — сказал я, — батареи не греют, унитаза не работают, телевизоры не показывают, а в подъездах молодежь табуны и матерные слова на стенах пишет? В общем, куда смотрит Советская власть?

Володя беспомощно улынулся:

— Совсем запурхался. Звоню-звоню, а толку? Куда ни ткнусь — всем до фени.

— А ты не надрывайся. Унитаз не работает — на меры в ЖЭК. Квартиры нет — на меры в горисполком. Тебе что, Буланцева не объяснила?

— Объяснила... — Володя взъерошил волосы, — но это же все бесполезно. Читал я эти ответы: вопрос будет рассматриваться на очередном заседании и по мере возможности... ну и так далее...

— Ясененько... Сделай обзор почты. Пусть народ порадуется, что хоть напечатали про них. Все утешение.

Володя закурил. Посмотрел в окно. На улице шел снег.

— Надо что-то делать... — Кондратьев сгреб письма в кучу, отодвинул от себя, — ни одной смелой мысли — сплошные жалобы. Никто думать не хочет.

— А о чем человеку думать, когда у него унитаз сломался?

— Да хоть бы о том, почему этих унитазов не хватает при нашей плановой экономике? Почему через шестьдесят с лишним лет после революции мы должны ходить на детские горшки? Почему долж-

ны терпеть такое унижение? Знаешь, такое зло иногда берет!

— И все равно — когда у человека нет унитаза, он будет думать о нем, а не о преимуществах плановой экономики.

— Ладно, пусть так, — Володя загасил окурок, — но почему тогда об этом не думаешь ты, у кого с унитазом в порядке?

— А чего им думать, если у них все в норме?

Володя посмотрел на меня, сморщил лоб:

— Что-то я запутался...

Он помолчал и сказал:

— И все равно — то, что народ забитый — это... так не должно быть!

— Вот и давай! — засмеялся я, — подымай народ на борьбу с отдельными недостатками! Тем более, как член тайного общества!..

Володя сжал пальцы в кулак и, стуча по столу, пропел:

— Смело, товарищи, в ногу...

— Кстати, — вспомнил я, — как там насчет поэмки Миши Куликова?

Володя помрачнел и сказал, что ходил с ней к Марианне и к редактору: все бесполезно. Зулина сказала, что все это антисоветчина, а шеф посоветовал спрятать ее и никому не показывать до лучших времен.

— Так и сказал: до лучших времен? — спросил я. — Значит, Анатолий Николаевич еще не потерянный человек.

К концу недели Володя сдал подборку писем. Так как Буланцева была в отпуске, читал Володю сразу редактор. Он и принес мне подписанные материалы. Только я стал их просматривать, прибежал Володя. Схватил свою подборку, пролистнул и в отчаянии сжал пальцы в кулак:

— Так и знал!

— Что? — не понял я.

— Да так... — он махнул рукой и ушел.

Я взял его подборку. В двух письмах были сделаны сокращения. В одном письме женщина жаловалась на то, что у нее в квартире прогнил пол, что она к кому только ни ходила, даже к депутату обра-

щалась, но и он ей не смог помочь. А дальше говорилось о том, что депутаты у нас ничего не могут, хотя считаются Советской властью, а власти у них никакой и нет. Зачем же тогда их избирать, если депутаты не могут защитить интересы народа, как это делается в других странах? Весь этот последний абзац редактором был вычеркнут, а сверху рукой редактора было написано: «Депутаты должны быть более настойчивыми».

Другое письмо было тоже по жилью. Какой-то мужик сообщал, что уже двенадцать лет стоит в очереди на квартиру, а некоторые приходят на завод и немного погоды получают квартиры. Дальше мужик писал, что он говорил об этом председателю завкома, а тот ему сказал, что нужным людям квартиры дают по особому списку. «Разве это справедливо? За что же боролись наши деды в октябре 1917 года? Или идеи революции уже забыты?» — спрашивал автор письма. Все его вопросы редактором были вычеркнуты, а вместо них была дописана фраза о том, что вопросы распределения жилья надо решать более справедливо.

Я заслал подборку в набор и зашел к Володе.

— Очень мне интересно, старичок, посмотреть на оригиналы некоторых писем трудящихся.

Володя смутился:

— А зачем?

— Охота поглядеть на почерк некоторых граждан.

Володя неловко улыбнулся:

— Что, догадался?

— Естественно. Только ты глухой номер затеял. Во-первых, и другие могут догадаться, а, во-вторых, через начальство твоя крамола все равно не пройдет, в чем ты сегодня имел честь убедиться.

Володя вздохнул, помолчал:

— Может, что-нибудь и пройдет... То, что начальник вычеркнул, это что — неправда?

С ним трудно было спорить. Он не понимал самых очевидных вещей. Помарги-

вал своими уже начинавшими злить меня бабьими глазами и твердил свое.

— Ты хоть постарайся это как-нибудь потоньше делать,— сказал я,— не в лоб.

— Да, да, конечно,— согласился Володя,— это ты правильно подсказал.

Через неделю он сдал следующую подборку писем. Номер тогда вел дядя Гриша, и я увидел ее уже в полосе. Яша — он был дежурным, мимоходом отметил, что в письмах появилась «пара мыслей». Я понял, что на этот раз Володе повезло. После планерки посмотрел газету. Действительно, кое-что из того, что присочинил Кондратьев, проскочило. Правда, это было не бог весь что, но все же, как заметил Яша, пара извилин там просматривалась. Володя радовался и, видимо, проговорился о своем изобретении, потому что Яша в тот же день спросил у меня: знаю ли я, что придумал Кондратьев? Я развел руками:

— Да уже знаю...

— Ну, молодец, однако,— усмехнулся Яша.

Вскоре после этого произошла неприятная история. Кондратьев подготовил материал из дома отдыха. Там было много всяких тоскливых беспорядков: старая мебель, грязные стены. Володе удалось посмотреть номер, в котором все было по-другому — по высшему классу. Приводились слова технички, которая крыла всех тех, для кого этот номер держали. Мы тогда поинтересовались у Володи, как его в этот номер пустили? Все, оказалось, вышло случайно. Кондратьев шел мимо по коридору, а в этом номере как раз убирала техничка. Когда Володя стал восхищаться обстановкой, техничка приняла его за отдыхающего из нового заезда и выложила все, что она по этому случаю думала.

Через пару дней после публикации этого материала я встретил в коридоре редакции пожилую женщину с черной хозяйственной сумкой. Оказалось, что это та самая техничка. Я проводил ее к Володе. Женщина села на стул, поставила сумку на колени и, всхлипывая, стала рассказы-

вать, как директор дома отдыха ест ее живьем, грозится, а ей до пенсии всего полгода осталось.

— Давайте мы напишем, что вас преследуют за критику,— сказал Володя.

— Совсем доконать меня порешили? — женщина сморщилась, из глаз ее брызнули слезы. Володя кинулся за водой, но женщина отвела рукой стакан, засморкалась. Она долго не могла успокоиться. Володя растерянно ходил вокруг посетительницы, трогал ее за плечо.

— Прошу вас, успокойтесь. Мы что-нибудь придумаем.

— Что тут придумывать? — женщина открыла сумку, вытащила оттуда какую-то бумажку, повертела ее и скомкала в кулаке,— напишите это... опровержение, что я вас туда не пускала и ничего такого не говорила.

— Но это же будет вранье,— сказал Володя,— вы же говорили.

— А кто свидетель? Мне добрые люди подсовывали адвоката нанять! — Женщина вскинула голову, но этой решимости ей хватило ненадолго. — Пожалейте старуху, пропишите, что не виновата...

Она сунула бумажку обратно в сумку и опять зашмыгала носом.

Володя не знал, что делать. Я позвал Суровцева. Он велел посетительнице успокоиться и смиренно подождать, пока он будет заниматься ее вопросом. Эдик говорил строго, держал себя, как большой начальник, и женщина тут же притихла. Я вышел вместе с Эдиком. Работая над макетом, поглядывал в коридор: не хотелось пропустить, чем все закончится. Суровцев не появлялся. Я не выдержал, заглянул к Володе. Посетительница мышкой сидела в углу, прижав к животу сумку.

— Вы б разделись,— сказал я,— так же упариться можно.

— Я уж сколько раз предлагал,— суетливо развел руками Володя,— Мария Сергеевна, ну что вы в самом деле, у нас тут так топят...

— Спасибоочки,— ответила посетительница,— не хлопочитесь. Мне и так ничего.

Она подобрала губы и отвернулась от нас.

— И все же, Мария Сергеевна, я не могу понять — чего вы боитесь? Чего? Вы можете в суд подать на своего директора, если она вас уволит, и любой суд вас восстановит. Я сам свидетелем пойду, если надо будет. Это же дикость какая-то — увольнять человека за то, что он не соврал! — Володя разнервничался, по своей привычке выловил в пепельнице окурков, но вспомнил про посетительницу и бросил его обратно.

Наконец пришел Эдик.

— Уважаемая, можете идти домой. Все улажено.

Женщина соскочила со своего места:

— А ежели Валентина Матвеевна... Вы уж мне толком обскажите...

— Валентину Матвеевну попросили вас не трогать. Можете спокойно дорабатывать до пенсии.

Мария Сергеевна заморгала, кинулась благодарить Эдика, но он не стал слушать и аккуратно вывел ее за дверь.

Володя только хлопал глазами:

— Потрясающе! Я ничего не понимаю!

— Подрастешь — поймешь, — подмигнул ему Эдик, — и про сто грамм не забудь.

Я догадывался, как он провернул это дело. У него была куча знакомых, в том числе и в милиции, в народном контроле. Через них он и мог поискать грешки за директором дома отдыха. Или разузнать, что у той водится любовник: есть люди, которые собирают такие сведения. Все остальное было делом техники. Вежливый такой разговорец: стоит ли, уважаемая Валентина Матвеевна, осложнять себе жизнь из-за какой-то там технички... Я высказал это Эдику. Он усмехнулся:

— Не бери в голову... А ты, гражданин правдолюбец, — повернулся Эдик к Володе, — усеки на будущее, нужна ли твоя правда простому трудящемуся человеку?

Я думал, Володя потухнет после этого случая, но он с еще большим рвением взялся за свое. О том, что он дописывал письма, узнали в редакции многие — Юль-

ка, Эдик, Миша, Бурмакин. Все понимали, что, несмотря на чистые помыслы, то, чем занимается Володя, нехорошо, что в этом есть какая-то ущербность. Понимали, но помалкивали и ждали, чем все кончится. Володя после неприятности с корреспонденцией из дома отдыха сам стал меньше писать, больше работал с письмами.

— А Муза из отпуска придет — что будешь делать? — спросил я его как-то, — ведь тогда почта пойдет через нее, и она тебя враз разоблачит.

Володя пожал плечами:

— Не знаю.

И вдруг подмигнул:

— А я сам буду писать письма!

Когда редактор «резал» его приписки, Володя психовал, порывался схватиться с шефом. Мы его удерживали: не стоит, только хуже будет. Но Кондратьев все же сорвался. Обсуждали номер, в котором была опубликована подборка стихов. Володя резко обрушился на эти стихи.

— Это все пустость и вранье! Кому они нужны?

Зулина растерялась. Стихи у нас обычно не обсуждали. А чего обсуждать? Они никого не трогали.

— До Пушкина нашим авторам, конечно, далеко, — миролюбиво сказал редактор, — но тут ничего не поделаешь, — что есть, то и даем.

— Зачем неправду говорить! — выкрикнул Володя, — я вам и Марианне Марковне приносил поэму Куликова. Вы, Анатолий Николаевич, прекрасно понимаете, что — это вещь, но дать ее в газету испугались! А всякую муру подписываете!

Все замерли: что будет дальше? Анатолий Николаевич поиграл бровями, но выдержал себя и сказал:

— Пока я здесь редактор, и я буду решать, что подписывать, а что нет. Все — планерка закончена, за работу, товарищи.

Попался Володя перед самым возвращением Буланцевой из отпуска. Было опубликовано подготовленное им письмо о медицинском обслуживании. Пенсионерка Куковьякина жаловалась на плохое лече-

ние, а потом словами Кондратьева рассуждала о том, будто в нашей стране бесплатное медицинское обслуживание, а это неправильно. Деньги на медицину берутся из налогов всех трудящихся, а откуда же больше? Значит, она всю жизнь платила за свое лечение, а как прихватило на старости лет, так к ней отнеслись как попало. Редактор поначалу про бесплатное медицинское обслуживание вычеркнул, а потом восстановил.

Володя рассказал мне, что он поскакал с шефом из-за этого абзаца и что его неожиданно поддерживал Бурмакин. Он зашел к редактору, когда они ругались, послушал и сказал, что автор письма, само собой, права, хотя, может быть, и неприлично это слушать.

Письмо пенсионерки Куковьякиной было опубликовано в субботнем номере. В понедельник с утренней почтой пришли отклики. Немного — два-три, кажется, но все равно Володя радовался. А перед самым обедом в редакцию пришла делегация из больницы, на которую жаловалась пенсионерка. Редактор вызвал к себе Володю и Музу Матвеевну — она в понедельник как раз вышла из отпуска.

— Чего там? — спросили мы у Люды, когда ждали Кондратьева, чтобы пойти в столовую.

— А-а, разбираются... Говорят, что ничего такого не было и всякое такое.

— И вообще под белыми халатами не может биться черствое сердце, — хмыкнул Эдик, — гражданку Куковьякину надо прилеж за клевету.

Постояли, потрепались.

— А кто там пришел? — спросила Юлька.

Люда пожала плечами:

— Одна, кажется, из профкома, а кто другие — не поняла.

Подождали еще. Наконец в коридоре показались женщины из больницы. Они шли гуськом, высоко подняв лица.

— Чую, ничего у них не выгорело, — сказал Яша.

Прошло еще несколько минут. Володя с

Буланцевой не появлялись. Мы послали Люду узнать, в чем дело?

— Что-то у них там не все в порядке, кажется, — сообщила она, вернувшись, — вид у всех такой, будто кол проглотили.

— А Володя? — спросила Юлька.

— Сказал, чтобы мы его не ждали.

В столовке мы обсуждали, что же могло произойти. Не подтвердилось то, что написала пенсионерка? Не похоже, вроде на это, но даже если и так, то ничего страшного Володе не грозит. Каждое письмо не проверишь.

— В общем, боком вылезло Кондратьеву бесплатное медицинское обслуживание, — сказал Яша.

— Слушайте, — выдохнула Юлька, но мы все, кроме Люды, уже поняли в чем дело.

Когда вернулись в редакцию, Володи там уже не было. Минут через двадцать всех собрали к редактору. Молча, будто на поминках, расселись. Анатолий Николаевич встал, уперся кулаком в стол.

— В наших рядах, — сказал он и тяжело повел головой, — среди нас, как оказалось...

— Завелся вредитель, — хмыкнул Эдик. Он сказал это негромко, почти под нос, но в кабинете было тихо и редактор услышал, побагровев:

— Я попрошу вас!

Перевздохнув, он стал говорить о том, что случилось. Разбираясь с жалобой работников больницы, редактор велел принести письмо пенсионерки Куковьякиной и обнаружил, что в письме содержится лишь половина того текста, что был опубликован в последнем номере газеты. Тогда были проверены все письма, с которыми работал товарищ Кондратьев с того времени, как Муза Матвеевна ушла в отпуск. Больше половины из них оказались фальсифицированными. Каждый из авторов этих писем вправе подать на газету в суд, и удивительно, что никто этого еще не сделал. Самое же неприятное в случившемся то, сказал редактор, что товарищ Кондратьев занимался сочинительством не

по неопытности, нет, он делал это вполне сознательно. Свой проступок, если не сказать больше, товарищ Кондратьев пытался оправдать разного рода демагогией, но в результате принципиального разговора признал, что дальнейшее его сотрудничество с газетой нецелесообразно и написал заявление об увольнении.

На этом Анатолий Николаевич закончил свою речь и попросил нас высказаться. Но желающих выступить не находилось. Рябова осуждающе покачивала головой, но молчала. Юлька прижимала пальцы к щекам и беззвучно шевелила губами. Бурмакин поглаживал затылок и сам себе печально улыбался.

— Некрасиво, конечно, получилось, — вздохнула наконец Муза Матвеевна Буланцева.

— Очень некрасиво, — сказал редактор уже без прежнего гнева в голосе.

— Но он же там ничего такого не написал! — крикнул вдруг Миша Орлов.

Анатолий Николаевич приподнял брови:

— Какого такого?

— Ну, в смысле антисоветского.

— Да по сути Володя прав! — воскликнула Юлька и сдернула очки, чтобы никого не видеть, — и все это прекрасно понимают!

— Не все, Юлия Борисовна, не все, — нехотя сказала Рябова.

Редактор постучал карандашом по столу:

— Дело не в том, что дописывал в чужих письмах Владимир Петрович, работник, надо сказать, не без способностей, а в том, что поступать так недопустимо. Я уж не говорю о том, что это противоправно. Вы, Юлия Борисовна, член Союза журналистов СССР, молодой коммунист, ответьте, так это или не так?

Юлька молчала.

— Так, — сам себе сказал редактор и распустил собрание.

* * *

...Через день Володя пришел за трудовой книжкой. Выглядел он нормально, но когда с ним заговаривали о случившемся, досадливо морщился. В коридоре его встретила Буланцева и подала руку:

— Мне было приятно с вами работать, Володя. Всего вам доброго!

А потом, когда он заглянул в секретариат, туда зашла Рябова и тоже пожелала Кондратьеву всяческих успехов.

И все же, я чувствовал, он торопился уйти. Да и нам было немного не по себе. Вроде виноватыми чувствовали себя перед ним. Разговаривали с Володей, а сами посматривали на бумаги на столе, хватались за телефон.

Потом мы вышли проводить его в вестибюль.

— Заскакивай, — сказал Эдик, — на сто граммов мы с тобой всегда сообразим.

Прибежала Люда. После замужества она стала спокойнее, мягче. Но тут с размаху обняла Володю за шею:

— Да простит меня муженек!

Подошел Бурмакин и, прежде чем подать Володе руку, одернул пиджачок:

— Заходи на партию — всегда готов сразиться.

Кондратьев, упираясь спиной в косяк, тер ладонью подбородок, бестолково улыбался. Мне показалось, что он кого-то ищет среди нас. Юльку? Но я ему уже говорил, что ее отправили в командировку. Шефа? Зачем ему его искать?

А Володя подавал нам руку, что-то говорил и все вытягивал кверху шею.



ВЕЧЕРНИЙ РАЗГОВОР

БАЛАЛАЙКА

Я с детства слуха не имел.
Во мне копился звук надсадно.
И если кто-то ладно пел,
Я пел, как правило, не ладно.

Жила невзгодами семья,
Деля землистый хлеб на пайки,
Но мне купила мать моя
На грош последний балалайку.

— Играй, сынок, — сказала мать. —
Чтоб наша жизнь повеселела.
И первый мне мотив сама
Негромким голосом напела.

Я не запомнил тот мотив
По вышесказанной причине,
Хотя он, прост и некрасив,
Во мне шевелится поныне.

Я струны пальцами трепал,
Скользил по грифу неумело.
Я слепо звуки извлекал
Из балалаечного тела.

И мне казалось, что вот-вот
Они пробьют глухую стену...
Но чувств живое естество
Во мне стихало постепенно.

От безнадежности устав
И опустив бессильно руку,
Я замыкал свои уста,
Перекрывал движенье звуку...

С дерев слетал усталый лист,
Осенний дождик бил по крыше...
Не вышел из меня артист
И даже дилетант не вышел.

Гуляли ветры по стерне,
И тучи крыли поднебесье...
О, сколько умерло во мне
Хороших и неспетых песен.

* * *

Отвожу опаленные зноем глаза
От бедняцких жилищ степняков.
Кто мне злую неправду о них рассказал?
Кто подумал о жизни народа легко?
Может, байский потомок,
Засевший в стенах
Белокаменных яблоневых городов?
Может, совесть в степи
Потерявший казах,
Что на подлость любую готов?...

Голопуzych мальчишек
Притихшая стайка стоит
Вдоль железной дороги
В горячей пыли.
Как надрывно колесами поезд стучит
Мимо этой оставленной богом земли!
Как грустны у них лица,
Как жадно глядят
Они в окна вагонов,
Улетающих прочь.
Никогда не забыть мне
Глаза этих сирых ребят!

Никогда не смогу эту боль
Я в себе превозмочь!
О, как мне ненавистны —
Кунаевых сытый уют
И акыны вчерашних и нынешних лет,
Что похвальные, сладкие
Песни поют
Вот на этой оглохшей от горя
Земле.

МАКИ

Воздух душною, спелой жарою пропах.
Здесь такая стоит тишина!
Ах, как маки цветут

в казахстанских степях —

Их зажгла молодая весна.
Им даны на цветенье
Короткие дни.
Их сожжет напыляющий зной.
Вот поэтому так
Полыхают они
Алой кровью на тверди земной.
— Плачет степь, — говорит мне
Почтенный казах.
И вздыхает невеста почему.
И запрятана боль
В его узких глазах,
Что достались от предков ему.
Сын степей,
Отчего опечалился ты,
Сто морщинок собрав
У задумчивых глаз?..
Казахстанская степь зажигает цветы,
Будто с нами прощаясь сейчас.
Скоро ветра
Сухой и шершавый язык
Будет жадно лизать солончак...
Твой народ и к жаре
И к безводью привык,
Только степь не привыкнет никак.
Подаю свою руку на дружбу тебе
И объятый весенним пожаром стою.
Эти маки горят
В нашей общей судьбе
У грядущей беды на краю.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕМА

Приходил ко мне черт —
Торговал мою душу:
— Хошь — деньгами,
Хошь — бабами заплачу.
Исходил от него
Мерзкий запах сивушный,
И нахально
Он хлопал меня по плечу.

Он мне тыщи сулил,
А потом — миллионы...
Предо мною девиц
Он выстраивал ряд —
То в бикини,
То в мини,
А то —
И совсем оголенных,
В том, в чем мать родила,
Как в народе у нас говорят.

Я мотал головой
И такую заламывал цену,
Что корежило черта,
Слезу выжимало из век...
Но на то он и черт —
Докумекал!
(Пускай постепенно),
Что над ним
Насмехается
Грешный земной человек.

Плюнул черт.
Злобно шаркнул
Козлиным копытом,
Погрозил напоследок
Изжарить меня на огне.
И убрался.
И двери захлопнул сердито...
А душа содрогалась
В восторге и боли во мне.

* * *

Гляделся в глаза родников,
Шелковые травы сминая,
Напластованья веков
С души осторожно снимая.

А кто я? — вопрос возникал.—
Всего лишь прохожий случайный?
И тихо родник отвечал:
— Пусть это останется тайной.

Когда отыскал я любовь
В людской пестроте разноликой,
На свет ее вывел, и вновь
Душа задохнулась от крика:
— Ну, кто я? И кто ты? — скажи.
Открой вековые секреты!..
И вот уже прожита жизнь.
Но нет и не будет ответа.

* * *

За этот день,
За этот час
Я так свободой надышался.
Я много лет с тобой прощался,
А распрощался —
Лишь сейчас.

Меня за это не вини,
А тихо выйди в ночь слепую
И вслед мне
Горестно взгляни.
И урони слезу скую.

* * *

Словно в праздник уйду в одиночество.
Мне оно во спасенье дано.
Позабуду твоё имя-отчество,
От которых устал я давно.

А тебя между счастьем и бедами,
Омрачая твоё бытие,
Будет тихо и долго преследовать
Отлетевшее имя моё.

* * *

Обо всем сужу толково
В тесном дружеском кругу.
И добротным русским словом
Щеголяю, как могу.

Я играю.
Мне по нраву
Перевертыши слова.
Сыплю шутки то из права,
То из лева рукава.

Шелестят слова, как листья,
Как трава под окнами.
То я «чокну» по-сибирски,
То по-волжски «окну» я.

И никак нельзя заране
Ни понять, ни вычислить:
Где в словах — языкознание?
Где в словах — язычество?

ДВА ДНЯ ЛЕТА

ПОВЕСТЬ



Наконец пришло письмо.

«Травы нынче уродились дай бог! — писала мать. — Отец смотрел покос. Ночей не спавши, мы горевали за него. Помнишь, в прошлом году колотили загон телятам? Выпаса к покосу теперь близко, как бы не потравили, а где рядом возьмешь, покос-то! Будем, старые, ходить, ноги бить. И вам с автобуса не с руки. Опять незадача. Так думаем да горюем. Но слава богу, телятницы не допустили. Отец сказывал, только с краю потравила скотина. Подымется, мы ведь можем от осинника начать, пока до края дойдем, трава подымется. Вот, значит, приезжайте...»

Каждое лето я ждал этого известия, как ждут явления природы: весной ледохода, осенью страды, к зиме первого снега. Родители без меня не управятся. Три сестры — не в счет. У Нади и Нины мужья — нитка за иголкой тянется, не наоборот. К тому же муж старшей, Нади, военный — не сам себе хозяин, да и бывают они раз в три-четыре года. Младшая Таня учится в университете, уехала со студенческим стройотрядом. Братишка Митя шоферил в городе, жил у сестры Нины с зятем, а недавно они втроем переехали на строительство водохранилища. У строителей летом — жаркая пора, вряд ли смогут взять отпуск, наверняка будут наезжать только на выходные.

Опасения родителей насчет покоса понятны: поляна в каких-то трех-четырех

километрах от села, очень сподручно ходить пешком. А каково, если поляну вытопчут! Ведь надо будет тащиться к черту на кулички: все поляны и даже неудобницы вблизи села застолблены. На свой покос удобно добираться: приехав на автобусе, в родительском доме подкрепиться, переоденешься и — уже на покосе.

Я не раз задумывался, почему так получилось — все дети на стороне. Родители в этом виноваты? Язык не поворачивается их в чем-то корить. Дети издавна малопомалу втягивались в крестьянские заботы. Поить скотину, пасти гусей, встречать вечерами стадо — с этого начинались хлопоты. А потом отец сладил почти игрушечную литовку, с тех пор и не кончается для меня сенокосная страда. Уехав в город, я и мысли не держал, что можно податься в отпуск куда-нибудь на юга. Я продолжал жить сельской страдой, будто и не уезжал. Но все-таки!.. Все-таки уехал, как сестры и братишка. «Почему же так получилось?» — не раз спрашивал я себя. И не находил ответа...

Было время, когда на работе организовали общество садоводов-любителей. Землю тогда мог получить каждый желающий. Я решил посоветоваться с женой.

— Бери, если сам будешь обрабатывать землю, — сказала она. — Мне это в деревне еще надоело.

Для горожанина этот клочок земли — не только подспорье, но и возможность на время перевести свою жизнь на иную плоскость, приблизиться к природе. Для

нас, вчерашних деревенских да еще не порывающих связи с селом, мичуринский участок этой магической притягательной силы не имел...

Опорой нашей многочисленной семьи была домашняя живность. Может, поэтому приезда уполномоченных ждали, как наезда татаро-монголов за данью. Весть мигом облетала деревню. Во дворе начиналась тихая суета. Я помогал отцу выгонять бычка, нетель да овец на зады большого огорода. За огородом протекала речка, куда к проруби гоняли скотину на водопой многие жители: чья живность оставила следы от проруби в разные стороны — попробуй разбери! Животных загоняли поближе к озеру в тальник. Отец нес впереди добрую связку сена, я погонял сзади. Сложнее было со свиньями. Их в лесу на морозе не оставишь, а если и загонишь по снегу в лес — они тут же следом притрусят в деревню. Боровка закрывали в огороженном темном углу хлева, заваливали соломой. Но дотошный уполномоченный заглядывал во все укромные места, и редко когда удавалось его провести. Мать после принималась плакать, отец ходил хмурый. «Почему мы не имеем права держать живности сколько нужно? — спрашивал я сам себя. — Попробуй прокорми такую ораву! Несправедливо это!» И росла обида. И думалось: уж в городе-то власти рядом, не дадут всяким уполномоченным самоуправничать.

Родители все время твердили: надо, дети, учиться. Вот кончите школу, поедете в город, выучитесь — людьми станете... Вот и выросли, вот и выучились, вот и разъехались... Разве можно винить родителей в том, что из десятилетия в десятилетие творилось такое, будто кто незримый задался целью подсесть под корень крестьянский уклад и много преуспел в этом. Нет, не надо винить родителей — они хотели детям лучшей доли, а долю лучшую на родной земле для них не видели...

Автобус в Банново не заезжал, останавливался на горе: в ненастье громоздкому «Икарусу» трудно выбраться наверх — некогда засыпанный на улице гравий давно перемешался с грязью и сошел на нет. Рейсовый автобус в деревню пустили, как лет семь назад построили гравийную дорогу. С тех пор подсыпай — не подсыпай, сельская техника все одно натаскивает с полей чернозем.

Я вышел из автобуса и пошел вниз по улице. Вдоль русла речки Банновки кое-где растут ветлы, затем ее извилистая лента растворяется в тальнике, который тянется до самого озера. А из озера навстречу речке по небольшому рукавику струится вода. В тальнике и черемушнике эти два течения сливаются, дальше к ним присоединяется еще один рукав из другого озера — и начинается протока, на которой в ледостав рыбаков, что кочек на болоте: по Томи несется шуга, пугает рыбу, а на протоке под зеркальной гладью тишина. Вот и заходит сюда рыбака косяками. Протока широкой лентой сквоззстрой тополей-великанов плавно выносит свои воды в Томь, которая течет в трех километрах от деревни. По правобережью гряда за грядой тянется до самого горизонта хвойный простор.

Я шел по селу. То со мной здоровались, то я здоровался. Некоторые при этом называли меня Митей. Братишка после школы тоже жил и работал поначалу в родном селе, я в то время уже уехал. С братом мы похожи, отсюда и путаница. Когда окликали по имени брата полузнакомые или вовсе незнакомые люди, я не поправлялся. Была лишь легкая досада, что в родном селе уже перестают узнавать. Все больше в селе незнакомых лиц.

Я открыл калитку. Отец во дворе отбивал литовку, — неторопливо, как всё он делал в жизни. Рядом лежали еще литовки, потемневшие от времени грабли, клиншки, столярные инструменты. Отец при своей худощавой фигуре казался подростком. Поздоровались.

— В отпуск или на выходные? — спросил отец.

— В отпуск, в отпуск!

— Это хорошо.

На крыльцо вышла мать.

— Здравствуй, мама!

— Приехал! Как же я тебя проглядела-то? Как люди с автобуса пошли, я глядела, глядела — никого наших!

— Так я от Устьянцевых свернул в проулок, чтоб чуток вдоль речки пройти.

— А-а! По задам, значит, прошел! А я тебе, старый, что говорила, — обернулась она к отцу. — А ты мне всю дорогу — не приедут да не приедут. Еще дни заставил считать да прикидывать — раз письмо брошено в ящик в субботу вечером, значит, оно еще и не дошло!

Отец стоял и улыбался. Я его понимаю. Он и сам приезда детей ждет с нетерпением, только виду не кажет. Когда ждешь, как бы не ожидая, не слишком и омрачишься, если не приедут. А объявятся — и радости больше! Она как бы нечаянная, радость-то!

— Как литовки? Еще терпимы? — спросил я, беря одну из них в руки. — Полотно уже только с ножичек!

— Этот ножичек двух теперешних литовок стоит! — гордо сказал отец. — Нынче что — лист железа да и только! Отбивай — не отбивай — через прокос-другой берись за молоток! Анна, а где же молоток-то покосный? А этот, — показал отец на обычный молоток, — руку оттягивает, а лезвие не тончит.

У нас особый молоточек для отбивки литовок — легкий, ладный, под специальным углом заостренный.

— Ты его прибирал? — спросила мать.

— Так в прошлом году вроде все в предбанник убирал. Все там в ящике, а молоточка нет!

— Знать, так прибирал! А ты, Василий, больше нигде не смотрел?

— В чулане смотрел — нету.

— Погоди-ка! — мать ушла под навес и оттуда вышла с тем самым потерянным молоточком,

— Ведь сколько раз говорено — подбирай за собой инструмент, подбирай! То гвозди где попало, то молоток!

— А зачем ты его заныкала-то! — спросил шутливо отец.

— Я заныкала!

Вместо благодарности услышав такое коварное предположение, мать выразительно глянула на отца, хотела еще что-то добавить, но лишь махнула рукой и вошла в дом.

— Ну иди, поешь с дороги-то! — сказал отец. — И матери накажи. А то все автобус ждала, с утра ни маковой росинки.

В доме мать уже собирала на стол, а между делом принялась за расспросы.

— Снохе-то отпуск дадут ли? А что Наташку не привез?

— Уже дали, а Наташку она с собой привезет.

— Раз дали отпуск, когда приедет-то?

— Дней через десять, как доработает.

— Вот и хорошо! Нам подсобите да и ягоды заодно себе на зиму наберете! Наташка как, не болеет?

— Что ей сделается! Носится как заводная, даже спать не загонишь!

— Ну и ладно! Пусть набегается, в школу пойдет — уже не вольный казак.

— Ага! Она, значит, пусть набегается, а меня-то шибко пускала? — шутливо обиделся я.

— Как не пускала!

— То гусей пасти надо, то овец, то поросят загонять. Будто не помнишь!

— А ты обижаешься, что ли?

— Знаешь, как мне хотелось побегать с пацанами!

— Так ведь убежал же! Дашь деру и весь сизый от воды только к вечеру и объявишься!

— Мам, скажи, когда мы пропадали, ты сильно тревожилась? А то мы, как Наташки нет, чуть не караул кричим.

— Так вы в городе! Не ровен час — под колеса! А тут кругом свои и то, как прознаешь, что на речке да долго нет, так и летишь,

— Помню, помню. Ты сразу: марш домой, работа стоит!

— Я и Наташеньке такую же жизнь устрою, — засмеялась мать. — Только вы ее на лето скоро нам отдадите?

— Да я не против. Только Любу никак не уговорю. Так и трясется над ней.

— Ниче! Я с ней сама поговорю. Чем трястись, лучше заведите второго!

— В городе это не так просто, мама.

— Знаю, теперь у вас все сложно. Это нам было все просто — и войну пережить, и хозяйство подымать, и вас подымать. Куда как просто!

— Мам, не сердись. Я же не говорю, что вам было легко. Было трудно, я и сам помню.

— А помнишь, как я тебя брала с собой на зерносклад?

— Нет, не помню.

— Как не помнишь! Бывало, возьму тебя с собой, посажу рядом на горку зерна, сама веялку кручу-верчу, а ты играешь в зерне, что да почему — мне скучать не даешь. Так и пролетит день!

— А-а! Это с френчем связанное? — вспомнил я не саму историю, про которую не помнил, а рассказ матери о ней.

— Ну да! Взяла френч этот у дяди Васи твоего — моего брата, значит. С умыслом взяла. Возвращались мы поздно, не то, что нынче, вот и накидывала френч на тебя, чтоб не зябнул. А в нем карман на кармане! За нами строго следили, а мальчика что контролировать! Сыпану я в карманы зерна и веду тебя потихонечку. Нам бы за угол зайти, там я вытряхну в сумку. Идем, идем, а ты: мамка, я устал, я сяду! И давай стряхивать френч! И смех, и горе! Ой, да что это мы! — спохватилась мать. — Иди зови отца, а то он как пришел с дежурства — исть не хочется! Автобус ждал, вдруг подъедете — вместе за стол.

— Мам, а смородина нынче не померзла? — спросил я, когда вышли из-за стола.

— Я сама все думаю, как бы сходить, — сказала мать.

— Лучше съезжу да посмотрю.

— Да куда после такой дороги! — возразила мать. — Лучше отдохни.

Дорога и в самом деле была ранняя. Приходилось вставать чуть ли не в пять утра, в семь отходил автобус, и как на грех — я начисто лишен счастливой способности после ранней пробудки добирать сон в автобусе. Многие пассажиры спят, а я всматриваюсь в сумерки, слежу, как постепенно занимается рассвет над Томью, как выгребая на утренний клев рыбаки. Километров за тридцать до села автобус одолевает тягучий подъем, а там то по одну сторону дороги, то по другую зеленеют березовые околки. И уж совсем дух захватывает, когда автобус проезжает мимо большой и светлой березовой рощи, где невестятся высокие стройные деревья! Роща называется почему-то Директорской. Может, потому, что любили вывозить сюда на природу районное и областное начальство директора совхозов, чтобы отдохнуть на широкую ногу. С возвышенности угадывается крутой правый берег ушедшей в сторону Томи. Там вдали сизовеет одетая в таежную хвою гряда, за ней угадывается другая, дальше таежный простор сливается с маревом горизонта.

За березовой рощей автобус с асфальта сворачивает на шоссейную дорогу и километров пятнадцать скатывается в долину Томи. Тут начинаются свои просторы. Вперемежку с околками вдоль дороги тянутся поля. Это место прозвали Красным пахарем. На взгорке когда-то стоял культстан, памятный еще по тем временам, когда старшеклассником в урожайную страду работал здесь помощником комбайнера, а после окончания школы вел комбайн уже самостоятельно. Мне в свое время повезло — застал последний год, когда в учебной программе было еще производственное обучение и я вместе с аттестатом получил удостоверение сельского механизатора. Здесь же после уборки хлебов по-

зней осенью стогометом ставил на полях соломённые зароды.

Справа от кульстана виднеется Михайловка — небольшая деревушка без особых примечательностей. Но жила-была там Маша-Машенька-Маруся — первая любовь и светлое воспоминание. Теплыми весенними вечерами допоздна катались мы вдвоем. Без усталости носил нас от одной деревни до другой мотоцикл. В Михайловке мы обычно заезжали к Марусиной бабушке. Она усаживала за стол сумасшедших влюбленных. «Бабушка, мы самые счастливые на свете!» — восклицала Машенька, уезжая. И снова мчал нас мотоцикл — до районного центра, где мы уже учились в средней школе и жили в интернате... Потом я уехал в город, и первая любовь так и осталась светлой, ничем не омраченной, стерильно-чистой... «Чистота бесплодна, на ней ничего не растет», — вспоминается невеста когда и где услышанная фраза. Может быть, может быть... Но не надо обольщаться, ведь и в народе воистину сказано — «Не у всякого жена Марья, а кому Бог даст». Но все-таки, все-таки как хорошо на этой земле, где рос, где любил, где предстала красота окружающего мира!

Когда бывал в деревне, я обязательно стремился сходить в лес, если это не удавалось, то на речку-то обязательно! Вот и сейчас, когда мать сказала про смородину, мне этого и надо было! Вдоль берега озера и дальше на болоте растет смородина. Дикая смородина, правда, мельче садовой, но зато и вкус ее особый.

Я вскочил на велосипед и выехал за село к речке, на перекате перед переездом остановился у хорошо знакомого омута. Здесь в июне на бабочек-капустниц здорово клевал чебак, и что удивительно, — клев начинался в полдень и длился минут тридцать-сорок, а потом как отрубало.

Дальше через речку дорога тянулась под высокими тополями вдоль протоки. Километра через полтора открылся просторный луг. Какой здесь был сенокос! Тогда я еще учился в восьмилетке своей родной деревни и летом копновозил. Жен-

щины на волокуши складывали валки, пацанва на конях подтаскивала сено к зароду, а там ловко орудовали мужики деревянными трехрогими и обычными вилами. Хорошее было время! Водили коней в ночное, устраивали скачки. Но потом тяловая лошадиная сила сменилась техникой, она вытеснила с сенокоса не только лошадей, но и ребятишек. Сейчас эти луга для покоса уже не пригодны, совхоз здесь устроил выпаса для коров.

Я любил заезжать на дойку, где вдоль изгороди попадались шампиньоны, впрочем, с каждым годом все реже. А ведь были времена, когда шампиньоны росли густо, но никто из деревенских не считал их за грибы — ходили и пинали ногами. Городские же прямо с автобуса шастали на ферму и пластали там эти самые грибы, которые не в чести у деревенских. Еще смеялись над городскими: вон, мол, за навозниками пошли! Потом и сами стали ходить за ними, — на столах из кастрюль парил необыкновенный грибной запах! Но этот чудесный запах попарил да и перестал: шампиньоны на ферме сошли на нет, на дойках встречались малым числом. Я обошел ограду, но грибов не нашел.

На дойке сегодня дежурила Рыбакова Валя, наша родственница. Она после девятого класса выскочила замуж и с тех пор славно исполняла свой главный долг на земле — народила уже четверых, и всякие там синусы-косинусы сейчас, наверное, ей помнятся, как давний смутный сон.

— А-а, приехал, — сказала она в ответ на мое приветствие так обыденно, будто мы расстались вчера.

— О, ты снова в интересном положении! Кого ждешь-то?

— Дочку хочу. От сорванцов что толку! Какие они мне помощники!

И вправду, огольцы Рыбаковы больше носились по деревне, чем помогали родителям, — хотя помощниками они в чем-то и были: я не раз встречал по дороге из магазина то одного из них, то другого с сеткой хлеба. Весной ли, осенью — они всегда

з одной рубашонке, босиком — и не бо-
леют!

— Молодец! — похвалил я Валю. — По-
полняй нашу родню, на свадьбе погуля-
ем! Угости водичкой.

— Молока хочешь?

— Нет, — сказал я, зная коварство де-
ревенского молочка в первые дни приезда
из города, и не стал себя искушать. — Луч-
ше дай холодненькой водички.

Валя вынесла воду из будки.

— Слушай, Валь, смородина нынче уро-
дилась?

— Вроде есть. Так она ж еще зеленая!

— Ну раз здесь на болоте есть, я поеду
далее к озеру, гляну там.

Я оседлал велосипед и по узкой тропи-
ночке, которую выбили коровы, выехал на
дорогу. Она вела к озеру. В здешних ме-
стах в школьные годы я часто охотился.
Еще в пятом классе отец стал меня брать
с собой в лес, учил ставить петли на зай-
ца, читать следы. Поначалу я упирался,
думал, зачем впустую тратить время в ле-
су, лучше поиграть с ребятами на улице,
но постепенно втянулся. А когда отец обе-
щал дать пострелять, то вовсе ждал похо-
дов в лес с нетерпением. Потом отец стал
ходить в лес реже, я повзрослел и в сво-
бодное время, особенно в выходные, про-
падал в лесу. Теперь уже не порол горяч-
ку, как поначалу. По первости как было?
Вспугну зайца — все отцово ученье из го-
ловы вон! Шпарю за ним по следу напро-
лом через валежины и кустарники — толь-
ко шум стоит! Опомнюсь, когда заяц окон-
чательно запугает меня и заляжет, — ли-
цо жжет от царапин, из фуфайки там и
тут клочья ваты торчат, сам весь в испа-
рине. Страсть к охоте довела до пропусков
занятий в школе. Папашина натаска ему
же вышла боком: классная руководительни-
ца Александра Леонидовна вызвала отца в
школу, долго говорила с ним в учитель-
ской. Учился я неплохо и, видимо, потому
самовольно установил себе пятидневку —
по субботам в школу не ходил. После этой
беседы отец отлучил меня от ружья и дол-
го потом пришлось упрашивать, чтобы

хоть в воскресенье мог пойти на охоту...

Вот открытое пространство, поросшее
чапыжником. Здесь не раз я поднимал из
кустов зайца. А вон там в осиннике, бли-
же к озеру, прямо руками поймал однажды
вылетающего из-под ног косача, — когда
приметил шевеление снега под собой, тут
же наступил лыжиной и упал на добычу!..

Вот и озеро, по его берегу растет сморо-
дина. Я оставил велосипед под осиной и по-
шел вглубь. Ягода на кустах уже побуре-
ла, немало попадалось и черной. Набрав
бидончик, я направился к озеру, стараясь
выходить к воде тихо, без лишнего шума.
Впереди слышалось криканье, в оконце ка-
мышпа проплыла утица с утятами. Налю-
бовавшись этим поздним выводком, остро-
рожничать не стал — открыто вышел к
воде, выбрал подходящее место, разделся
и вошел в воду. От внезапного холода го-
лова невольно втянулась в плечи, но ког-
да вразмахку поплыл к середине, вода
приятно бодрила, обдавала свежестью. Из
камышей вылетали напуганные утки и
снова плюхались в воду. Я лег на спину и
стал смотреть на облака, сквозь них стру-
ился легкий свет...

Во дворе отец все еще ремонтировал се-
нокосный инвентарь. Я показал ему ягоду
и поспешил обрадовать мать.

— Мам, на первое варенье есть. Смотри!

— Вот и хорошо. Значит, поспевает! А
зеленой много?

— Навалом.

— К приезду снохи как раз поспеет!

Мать осталась перебирать ягоду, я вы-
шел во двор.

— Тут мы надумали барашка поре-
шить, — сказал отец. — Так и так ведь на
покос надо мяса, а то потом на закол то-
же время надо. Как смотришь, а?

Я смотрел положительно.

— А ты сходи пока за барашком, —
предложил отец.

— Овцы где сейчас?

— За памятником.

Я пошел на край села. Вдали белел пар-

тизанский обелиск, над ним развевался красный флаг. Это со школьных лет памятное место. Здесь 19 мая устраивали костер, принимали в пионеры. Этот обелиск был сооружен в память о партизанах Мясоедовых. Отец и два сына были связными между регулярными частями Пятой Армии, гнавшей Колчака, и партизанским отрядом в тайге. Мясоедовы под видом ухода на лесозаготовки доставляли сведения.

Об этих подробностях я вместе с другими членами исторического кружка школы узнал, когда мы расспрашивали старожилов наших деревень. Рано утром связных вывели на ту дорогу, по которой они шли к партизанам, и расстреляли. На этом месте и стоит обелиск. Не раз мы приходили сюда белить и красить, сажать цветы. Не раз сидели вдвоем с Машенькой-Марусей. Как все-таки жаль, что эти мгновения неповторимы!..

Вот был когда-то урок астрономии в школьном саду. В сентябре чистое небо еще сулило погожие дни. Старшеклассники вместе с учителем Николаем Петровичем пришли в школьный сад, где под ракетками стояли скамейки и стол. Ученики шумно расселись — девочки буквально все оказались напротив ребят.

— Итак, друзья мои, — сказал учитель, — начинаем урок астрономии. Рассмотрим созвездия и их местоположение на небесной сфере. На северо-западе знакомая вам Большая Медведица, метко названная в народе ковшом за характерную фигуру.

Все посмотрели на Большую Медведицу. Еще было рано, если считать по звездному времени. Ковш висел параллельно Земле. Если его опустить на землю, он как раз сядет на том берегу Томи.

— Друзья, смотрите, — продолжал учитель. — Если я стану лицом на север и проведу рукой линию от Большой Медведицы к себе, а затем линию перпендикулярно поверхности земли...

Ученикам уже который раз объяснялось, как находить стороны света, отыскав Полярную звезду. Будто им во взрослой жи-

зни только и оставалось блуждать в крошечной тьме да еще под яркими звездами. Ребята давно уже поглядывали не на учителя и звезды, а на скамейку, что напротив. «Махнем на созвездие Девы!» — предложил кто-то в темноте. Учитель тем временем продолжал рассказ про созвездия Веги, Малой Медведицы, Северной Короны... А старшеклассники потихонечку парами стали расходиться. Старый учитель, увлеченный рассказом, не видел, как они удалялись под его мерный говор, под тихий шелест опавших листьев и слабое мерцание бесчисленных звезд. Говорил учитель долго, вдохновенно. Я ушел бы тоже, будь рядом Машенька, но она училась классом младше. Учитель говорил, а я и слушал и не слушал. Я представлял себе, как бы сейчас мы вдвоем бродили с Машенькой. Под этим чистым звездным небом я сумел бы объяснить ей все свои чувства, всего себя. Какое это счастье — быть в согласии с Машенькой, быть понятым ею!.. В эти минуты весь мир был во мне, и я во всем. Мир был молод и устремлен в будущее. Но тут меня охватила жалость к учителю. Он стар, а его заржавленный скрипучий голос говорит о молодых мирах. Неужели и мы так же состаримся когда-нибудь? Даже не верится!.. Ну почему, почему люди должны умирать? Для чего это? Для чего живем? Для чего вообще жизнь?.. И так стало одиноко и бесприютно, что захотелось увидеть Машеньку...

Я пошел к Машеньке, она вышла на условный стук. Ни о какой встрече не договаривались, она удивилась моему приходу. Вдвоем пошли по улицам, вышли за околицу, дорога привела к обелиску. Здесь я впервые поцеловал Машеньку. А ковш медленно опрокидывался над землей, как и во все времена.

Пройдя лошину, я обнаружил отару в околке. Овец пас дядя Ваня Клепиков. Когда-то он вместе с отцом работал на конном дворе, я с ними выезжал на выпаса, осенью и зимой помогал возить сено для лошадей. Дядя Ваня рассказывал разные байки, учил озорным частушкам. Бросив

своих троих, он взял тетку Настасью — тоже с тремя детьми. Муж тетки Настасьи, инвалид дядя Петя, не выдержав этой ославленной на всю округу любви, повесился на чердаке. Но тетка, видать, была роковой женщиной: дядя Ваня и сам стал инвалидом. На рыбалке ранней весной по пьяни заснул на берегу, продрог до костей, с тех пор как следует не поправился, к серьезной мужицкой работе стал непригоден. Стал пасти скотину. Давненько я его не видел. Дядю Ваню согнуло долу, волосы уже побелели, в глазах не видно прежней лукавинки. Я поприветствовал его и справился о здоровье. «Да что ему сделается, — сказал он. — Здоровье-то хорошее, да никто не завидует». Потом сам стал расспрашивать про мою жизнь, про семью и работу. Дядя Ваня помог поймать черно-белого барашка, на которого указал отец, я на веревке повел его в деревню...

Отец заколол барашка, я помог ему подвесить его для разделки, мать стала хлопотать о посуде под внутренности.

На меня накатила усталость, я зашел в сени, снял старую одежду, взобрался на сеновал, расстелил и лег отдохнуть. Дорога давала о себе знать, да и завтра предстоял первый сенокосный день, который с непривычки выматывал больше всего. На грани бодрствования и сна пробыл недолго и провалился в сон... На земле повальный мор. Больных вывозят на телегах далеко за селение. Меня везет отец, он сидит на передке, гляжу на его согбенную фигуру и испытываю жалость, а печальный отец везет и везет туда, куда едут и едут другие телеги. Холодный неуютный ветер гонит тучи, они быстро плывут над землей, они небесный свод совсем придавили вниз, от чего нарастает тревога и чувство обреченности. А тучи черны, как дым из труб, плывут и плывут с нарастающей скоростью. Я знаю: всем, кто ни едет — даже здоровым, что везут больных, — назад нет возврата.

— Отец, оставь меня здесь, — прошу, жалея его.

А он глядит печально и молчит...

И вот лежу на обрывистом берегу реки, чтобы не свалиться вниз, цепляюсь за траву. Ветер дует еще сильнее — медленно, но неумолимо сметает тело к пропасти. Пальцы цепляются за траву, а трава — мелкий-мелкий спорыш — ускользает сквозь пальцы, как последняя надежда. Порывы ветра подкатывают все ближе к берегу. Гляжу вниз — сердце онемело: далеко-далеко бурно течет синяя-синяя река, высокие берега из чистого льда ослепляют ярким блеском. Берега эти как бы вогнуты и образуют трубу, уходящую к неведомому синему горизонту. Новый порыв ветра подталкивает тело к обрыву, ослепляет белизна льда, нарастает шум воды...

Я проснулся. Ветер качал деревья, с запада надвигались темные облака. На крышу падали редкие крупные капли. Ветер внезапно затихал, и в воздухе ощущалась тяжесть, давила духота. Как бы убегая от тяжелого сна, я вошел в детство, в один памятный день, когда так же необычно вела себя природа.

Накануне бабушке было видение: в ведренную погоду на закате пошла она искать корову и ясно увидела на небе церковь. Различались не только само строение, не только золотой купол, но и дверь, окна и даже изразцы. Явилась бабушке церковь накануне Ивана Купалы при всем блеске и парила над ней неподвижно.

«Токо успела крестное знамение положить, как она — свят, свят, свят! — и скрылась».

Может, это была церковь другой деревни, другого района или даже области, но бабушка уверяла, что эта церковь была ни дать-ни взять нашей.

«Нет, нет, наша церковь эта была, бабы, наша!».

И ничто ее не могло поколебать в этом мнении. Хотя ей шел девяностый год и была она в деревне самой старой женщиной, она еще имела ясную память и вечно хло-

потала по хозяйству. Однажды она попросила меня помочь достать яйца из-под несущек, а гнезда для них были оборудованы под стрехой в стайке. Бабушка приставила лестницу. Чтобы не скользило, укрепила на полу кирпичами, велела придерживать лестницу, а сама под кудахтанье кур полезла наверх. Тут я увидел крысу и с кирпичом кинулся за ней. И все полетело вниз — бабушка, лестница, доски, гнезда, несущки, яйца... По стайке плавали перья и пух, а я стоял с разинутым ртом и не знал, что делать. Зато бабушка знала!

«Помоги-ка мне, а то подняться не могу», — протянула она руку.

Бабушка с моей помощью поднялась, но выпускать мою руку не собиралась. Она вывела меня во двор, стала искать прутик. Потом этот прутик загулял, сами знаете, по какому месту.

Женщины к ее видению отнеслись вполне серьезно. Однако все неизменно переспрашивали у бабушки, — была ли церковь точно нашей деревни? Может, бабушка ошиблась? Стоя на своем, она приводила сотни доводов.

«А то я свою церковь не знаю! Церковь, где венчалась! Церковь, где молилась!».

То, что она увидела именно нашу церковь, бабушку сильно пугало.

«Покарает нас бог, вот увидите, покарает!».

Активисты-энтузиасты давно снесли церковь, и только колокольная осталась пристанищем полудиких голубей. Когда нам с бабушкой случалось проходить мимо этого места, она по привычке крестилась, шептала молитвы и не раз добавляла: «Ангел белый, прости нас, грешных!».

Этот ангел белый, хранитель душ и всей живности деревни, каждый вечер прилетал к церкви, охранял покой и праведный сон селян.

«И сидит он, детки, до утра неусыпно на самой маковке, и нечистая сила нас за версту обходит!».

Бабушка сама видела, как тот ангел, белый, как лунь, прилетел однажды к церкви и, не найдя обиталища, с протяжным

плачем растворился в крошечных небесах.

Теперь вот и церковь вознеслась и парит вящей твердыней, неприступной для душ селян-разрушителей.

«Нет, не зря это, не зря!».

И бабушка начинала перебирать все богоотступничество нашей семьи, потом родни, а потом и всей деревни. Этих отступничеств было много. И неизменно выходило: если суждена кара небесная, она перво-наперво низринется на их деревню.

Эта кара не миновала.

Солнце взшло обычным порядком, небо было ясным, ветерок лениво раскачивал верхушки деревьев. В тот день я чувствовал себя вольготно, к обеду замыслил купаться пойти. Отец с матерью, взяв старшую Надю с собой, уехали к родне в соседнюю деревню, вернутся только завтра, — можно делать, что хочешь! Улучив момент, когда бабушка возилась с сестренкой Нинкой, я выбежал за ворота и подался к ребятишкам на пруд. Вернулся с опаской, ожидая наказания от бабушки. Но она ничего не сказала.

«Ох, тяжко, детки, тяжко, — бормотала она, крестясь на иконостас, где по левую сторону от Христа сидела Мария с младенцем, Илья-пророк — по правую, а рядом плешивый бог, которого я вырезал из «Крокодила» и давно уже тайком вставил в иконостас. — Дева пресвятая, защити и помилуй наших деток! — И снова крестное знамение и поясной поклон. — Илья-заступник, пожалей заблудших!».

Я проснулся от того, что бабушкино пророчество сбылось. Нечистая сила обложила беззащитную деревню. Дом был похож на решето. Эта сила со свистом влетала в одно разбитое окно и вылетала в другое. Уши закладывало от мощных раскатов, нет-нет да ярко озаряло улицу и все в доме. И в этих отблесках отчетливо проступали лики святых, бабушка перед образами. Доносились обрывки молитв, хруст стекла и непрерывная дробь. Лицо обдавало холодными брызгами. Бабушка взяла на руки плачущую Нинку, я

же ухватился за ее юбку, так мы втроем дошли до русской печи, бабушка укутала нас. Потом при ярких вспышках было видно, как она пытается заткнуть выбитые рамы фуфайками и подушками.

«Господи, господи, неужто Страшный суд!».

Отца с матерью нет, и от этого еще страшнее.

«Господи, оставь деток, меня приberi! Они крещенные, безгрешные!».

Пока бабушкин Бог размышлял — прибрать ее или нет, я успел крикнуть:

— Бабушка! Нам страшно! Иди сюда!

— Отказался от нас, не слышит,— говорит она про бога, забираясь на печку...

А наутро, как ни в чем не бывало, солнце взошло своим чередом, небо было чистым, ветерок раскачивал верхушки деревьев. И только в канавах по обе стороны улицы всклень холодной воды, от нее даже ноги ломило. В покато дворе остались заметные потеки в сторону большого огорода.

Под высоким крыльцом на ночь привязывали козу. Шерсть ее слиплась, она дрожала от холода. А двух маленьких козлят смыло в огород. В этот огород вынесло все, что плохо лежало. Отец по своей привычке оставил во дворе столярные инструменты. Рубанок, шерхебель, а также три топорща, деревянная лопата, метла, стоящие у тына сани — все вытащило через широкие ворота в огород. Даже вынесло бревно, которое добралось до середины огорода и обессилено плыть дальше.

Поеживаясь от редких холодных капель дождя, я вошел в дом. Мать готовила свеженину. Вечерним автобусом приехали на выходные Нина с мужем Виталием и брат Митя.

— Ну, братан, ты и спать! — сказал Митя, радостно блестя глазами. — Я уж пару раз на сеновал заглядывал — даже не шевельнешься!

— Разморило крепко и спал тяжело, проснулся — дождь по крыше. Вспомни-

лось как бабка Дарья нас в град укрывала.

— Я такого случая не помню, — сказал брат.

— Тогда тебя еще и в проекте не было, — пошутил я. — А ты, Нина, помнишь?

— Скажешь тоже! Я бабу Дарью вообще не помню.

— Кого она помнит! — вмешалась в разговор мать. — Когда свекровь померла, ей и пяти не было.

— И как только Нину градом не побил! — заметил серьезно обычно молчаливый Виталий.

Я с интересом поглядел на зятя. Когда Нина привезла его знакомить, поразила необыкновенная молчаливость будущего родственника. Поначалу это приписывали естественной стеснительности перед новыми людьми, мол, пообвыкнет — разговорится, но и в последующие приезды Виталий, теперь уже зять, удивлял своей молчаливостью. Когда с Ниной заговаривали про это, она обычно возражала: ничего тут странного, он вырос у матери один да еще без отца, вот и привык молчать. Теперь у нас в доме два молчуна, шутили мы порой в семье, — отец да зять. А теперь Виталий нет-нет да вступит в разговор. Мать перехватила мой взгляд и понимающе улыбнулась. Нина, помогающая ей готовить на стол, этого не заметила.

Когда вышли из-за стола, мужики во дворе на бревнах сели покурить. Мне было о чем поинтересоваться у приехавших родственников. Виталий с Ниной переехали на жительство из города в поселок гидростроителей. Его создали, когда решили перекрыть плотиной Томь. Понаехали гидростроители, некогда покорявшие реки в Усть-Илиме, Братске, Средней Азии. Оставшись без работы после напущенных на всю странустроек, они мигом откликнулись на предложение приехать на перекрытие очередной реки. Им на подмогу ринулся люд окрестных селений, в

основном молодежь. И даже вернулись сюда, поближе к отчому крову, те молодые, что поужезжали в города в поисках своего места под солнцем. Как это сделала Нина. Она привезла с собой еще одного строителя — мужа. Впоследствии к ним переехал после службы в армии и братишка Митя. Вначале он жил в щитосборном домике у сестры с зятем, а потом получил место в общежитии. Я ведь тоже в свое время загорелся и уже всерьез подумывал о переезде в новоиспеченный поселок. Стройка разбудила издревле тихие места, всколыхнула неутоленные романтические порывы юности. Еще бы! С первого колышка начинать стройку прямо в тайге, жить поначалу в палатках, а потом прочно обосноваться на берегу рукотворного моря, да и родные места прямо под рукой. По всем статьям выгодный переезд! Я тоже не удержался бы, если бы жизнь со временем не внесла свои поправки: родилась дочь, дали квартиру, место в детсаду, сошелся с людьми в коллективе. Может быть, даже на все это не посмотрел бы, но после первых восторженных эмоций здраво взглянул на происходящие перемены в родном краю. Газеты в то время уже стали писать о печальном состоянии рукотворных водохранилищ по стране. Сменился тон первоначальных радужных статей и в областной прессе. Для накопления чистой воды сотни предприятий выше плотины должны построить очистные сооружения и обеспечить чистый сток своих отходов. Ясно, какую волюнку затянут министерства и ведомства. Лесорубы очищали ложе водохранилища, вели вырубку. Много спорили, что делать с древесиной. А то ведь древесина всякая, — которая нужна лесозаготовителям и которая вроде бы никому не нужна. Лесозаготовители соглашались рубить деловую древесину, убирать за собой сучья, но никак не хотели брать на себя дополнительные работы по очистке ложа от кустарников и неходового леса. Другие предприятия тоже не брали на себя обузу по очистке ложа. Пока суд да дело, лес потихонечку вырубали. В конто-

рах спорили, куда девать неходовой лес, — перерабатывать в щепу или же пустить на какое-нибудь другое нужное дело, а может, сжигать на месте. Но худо-бедно ложе очищали, горели костры, как при нашествии татаро-монголов на Русь. А раз лес, оставшийся после заготовки деловой древесины, сжигали, вопрос вроде бы отпадал сам собой. Но время шло, на месте вырубок подымалась новая молодая поросль, и это практически сводило на нет усилия очистителей ложа водохранилища. План очистители выполнили, а после этого снова все хоть уремой зараста! Кроме того, с территории затопления надо вывозить десятки деревень, убирать могильники... Все это спалило первоначальный энтузиазм, еще неизвестно, чего больше — беды или блага — принесет родному краю это водохранилище. Я следил по газетам за ходом строительства, при случае интересовался у брата и зятя. Вот и сейчас спросил:

— Как дела у вас на Томи?

— Да работаем помаленьку, — сказал Митя.

— Когда думаете перекрывать? Сроки не меняются?

— А бес его знает. Начальству виднее.

— Ну а сами-то думаете?

— Все зависит от промпредприятий, от их очистных.

— Фома кивает на Петра! Сам ты как относишься к этой «стройке века»?

— Ты же видишь, как Томь мелеет.

— Еще бы! Когда в верховьях по всей водоохранной зоне лес варварски рубят!

— Даже если б не рубили, воды надо предприятиям все больше. Водохранилище все равно нужно, от этого никуда не денешься.

— Вас просвещают, что перекрытие — великое благо?

— Если все сделать строго по проекту — лучшего не надо.

— А будет оно по проекту? Все ложе после вырубки по новой зарастает! И никто не будет вторично очищать! Так все и

уйдет на дно. Значит, гнилая вода уже обеспечена! Это тоже по проекту?

— По крайней мере мы свое дело делаем.

— Каждый свое дело делает — вразнобой да враздробь. Отрапортовал и скинул с плеч. Если бы у реки был единый хозяин! Проектировщики из Казахстана, строители — тоже в основном пришлые. Построят плотину и сорвутся новые реки покорять. А нам-то здесь оставаться и жить! И вообще — кому все это выгодно?

— Кому? — переспросил Митя. — Всему нашему краю. Надо глядеть в будущее. У нас промышленность будет развиваться. У нас миллиардные запасы угля. Он, уголек-то, везде что ли, где ни копни? Вот он у нас есть, и его будут брать! Это богатство всей страны, и ничего тут не попишешь!

— Ишь, как ловко! Как только говорить о чем-то конкретном, сразу отвлекаемся на обобщения!

— Я тебя, братан, что-то не пойму, — удивился Митя. — Помнишь, как сам раньше восторгался перспективой? Заслушать-ся тебя можно было!

— Молод был, с мозгами набекрень.

— Это как понимать?

— Да глядел в будущее вроде тебя — на три шага, а дальше видеть не пытался.

— Ты против промышленности, что ли?

— Почему против? Не против. Но затопим земли водой, покорежим угольными разрезами — гнилая вода и лунные кратеры будут, выйдет себе дорожка!

— Вот и выходит, что ты против! Послушать тебя — и уголь не надо добывать.

— Это было бы здорово! Природа мудро поступила.

— Ну и что она намудрила, природа?

— Про парниковый эффект слышал?

— Какой, какой?

— Свои отходы природа захоронила под землей. А мы их добываем, сжигаем и засоряем атмосферу углекислым газом. От этого на планете идет потепление.

— Но это уже не от водохранилища, — наконец подал голос Виталий.

— Хорошо. Давайте о водохранилище. Знаете, кому от него первая выгода?

— Кому?

— Предприятиям, в первую голову химическим.

— Я тебе об этом и говорил, — сказал обрадованный Митя. — Чего кругами ходить-то было?

— Предприятия требуют: дайте нам временные предельно допустимые нормы, — прервал я брата вскинутой рукой. — Иначе: разрешите нам загаживать Томь, временно нарушая нормы. Разрешают. Из года в год растут эти разрешенные временные нормы. Они становятся постоянными. Водохранилище повысит «разрешаемую» способность Томи, воды-то станет больше, а стало быть, уровень концентрации вредных примесей меньше. Палец о палец не ударив на очистке стоков, можно будет отрапортовать: несмотря на расширение производства, уровень вредных веществ в реке не растет, а кое в чем и снижается. Вот чем водохранилище будет на руку хозяйственникам.

— А ведь верно! — подтвердил внимательно слушающий Виталий.

— Водохранилище будет для промышленности палочкой-выручалочкой, будет накопителем грязных стоков, вредных веществ. Ну а если прорвет это водохранилище, — сдернет все, как с бачка унитаза, и вся нечисть — прямым ходом в Северный Ледовитый! Все будет законсервировано там до Великого Потепления.

— Ну ты и загнул! — сказал Митя, не то протестуя, не то восторгаясь.

— А ты думал! — продолжал я, увлеченный темой. — Было великое оледенение, будет и великое потепление. И вот тебе новый всемирный потоп! Ковчег какому-нибудь там Ноя станут омыwać не светлые воды, а отхожие воды промышленности — бог весть в каком веке их сорвало с этого самого водохранилища!

— Ну это фантастика! — возразил Митя. — Плотину никогда не прорвет! Да и не бывает такой сточной канаве!

— И еще учти другое, — наступал я на

брата.— Поля у нас напичканы химией. Удобрения будут стекать в реку. Сейчас они не задерживаются в водоеме, быстро уплывают — как-никак Томь ведь горная река. Водохранилище зацветет! А деревья, кустарники на дне, что гниют и пожирают кислород! Помнишь, мы мечтали о рыбном море? Какая там рыба в тухлой да мертвой воде!

— Ну, хорошо, — сказал Митя. — Что ты предлагаешь? Остановить работы?

— А почему бы и нет! — спокойно ответил я брату, решив окончательно смутить светлые умы молодых покорителей природы — пусть ведают, что творят. — Помнишь, Митя, лет десять назад я тебе показывал статью? Там восторженно писали, что впервые в нашей стране у нас будет построено водохранилище не с промышленными целями, а как зона отдыха в индустриальном крае Сибири.

— Припоминаю.

— Писали, что к стройке будет подход особый. Ну и что мы видим на деле?

— А ты хотел бы, чтоб все было идеально, — возразил Митя. — Такого не бывает.

— Идеально не бывает, согласен, — сказала я ему. — Но такого...

— Что ты все на Митю! — вступился Виталий. — Разве он ответчик за все?

— Да не за все. Мне интересно, как вы сами относитесь к строительству.

— Как мы относимся? — переспросил Виталий. — О планах голова болит — вот и все отношение.

— Зоны отдыха, конечно, не будет, — согласился наконец братишка Митя. — Уж здорово все раскурочили вокруг. Но водоем все равно нужен. Конечно, мы хотели бы и земли сохранить, и воду чистую иметь, и промышленность развивать, но этого, видно, не будет.

— Ну ты заладил, как Фома неверующий: не будет да не будет! — возразил я брату.

— Для экономики страны наши потери неизбежны, — гнул свое младший брат.

— Почему? — спросил я его.

— А уровень цивилизации пока низок, безотходного производства нет. Вот государство и отдает наш богатый край на откуп прогрессу.

— А ты, оказывается, госу-у-ударственный человек! — с ехидцей перебил его я. — Ну что, государственный человек, тебе до лампочки, что путь прогресса к светлому будущему мостят через твой дом? — Я хотел ему высказать еще ряд соображений, о которых приходилось читать и слышать, о чем не раз думал сам, но махнул рукой и не стал продолжать. Лишь добавил: — Вы все-таки помозгуйте на досуге, какой след оставите на земле после себя.

Митя с Виталием стали готовить рыбацкие снасти.

— Давайте лучше отдыхать, а то завтра на покос, — стал я их отговаривать от за-теи.

— Да мы только на Ковшик сбегает, проверим, как клюет, — возразил мне младший брат.

Зять, заядлый рыбак, молча продолжал готовить снасти. Этого не удержишь, стало быть, Митю тоже. Они подались на Ковш — так называлось небольшое озеро у Томи. Кроме озерной рыбы там водилась и речная, которая заплывала в весеннее половодье. Когда рыбаки ушли на вечерний клев, я сразу полез на сеновал, чтобы как следует отдохнуть и отоспаться.

Разбудили часов в одиннадцать вечера.

— Вставай, трактор угнали! — сообщил отец.

На территории конного двора, где сторожил по ночам отец, механизаторы на ночь оставляли технику. Сторож отвечал и за ее сохранность. На краю села слышалось тарактенье трактора, — то ли угнанного, то ли еще другого. Отец на коне, а я пешком направились за село. Трактор держал путь к поезду через речку. Мы скорее двинулись ему наперерез. Трактор то пропадал в кустах, то выхватывал открытое

пространство лучами фар. На переезде его остановили. В кабине сидел незнакомый мне белобрысый парень.

— Этот трактор? — спросил я у отца.

— Этот, этот!

— А ну вылезь! — скомандовал я парню, залезая в кабину.

— Ты кто такой, что раскомандовался? — выдохнул парень самогонный перегар.

— Ты, Саня, прошлый раз угнал и — молчок! — укорил его отец. — А сейчас снова за свое! Придется управляющему сказать.

— А что мне управ! И на управа найдется управа! — зло сказал парень, но сопротивляться не стал, вышел из кабины.

Я вел трактор и размышлял: ну что это даст, если даже отец и скажет управляющему, — эти парни начнут назло угонять технику, чтобы только досадить сторожу. Обидят отца, а заступиться за него некому, когда мы отсюда уедем. На конном дворе я заглушил трактор, отец слез с коня, уселись на крыльце шпорницкой. Отец закурил.

— Что это за парень? — спросил я у него.

— Саня Шанин, балбес окаанный!

— Он, говоришь, уже угонял?

— Если б только угнал! Поехал он Фомичихе за выпивку подвезти дров. Завел трактор да и угнал в лес, а там посадил его на пень. Дергал взад-вперед, не отцепил да так и оставил. И молчит! Утром хватились — нет трактора! А он тут же с нами с невинным видом сидит и курит. Хорошо, у пастухов тогда закурить тормознул. Пастухи и сказали, чьих рук дело.

— Давно он в нашу деревню приехал?

— Года два назад.

— Помню, свои, деревенские, так не пакостили. Если надо куда съездить, спрашивали ведь!

— А сейчас и свои такие же! — сказал отец. — Воруют, только шум стоит. И в стайках шарят, и в огородах. И в лесу, если хлыст враз не вывезешь, потом ищи-

свищи. А комбикорм стащить, что пучок сена под себя подоткнуть.

— Так, Шанин, может, за комбикормом и наострился? Когда ездил за ягодой, я заезжал на дойку. Там сегодня как раз наша Валя дежурит.

— А то куда же! Ясное дело! Хотел комбикорм загнать и выпивкой разжиться. Ты Гришку Мальцева помнишь?

— Который с нашим Митей учился?

— Вот-вот! Нынче за комбикорм посадили.

— Надо же! Такой молодой!

— Молодой да ранний. Со старших пример брал, да опыта воровать не подкопил.

Нет, напрасно я хаю только приезжих — так, по привычке. Свои теперь не лучше. Отец прав. Теперь уже запросто и соседские пацаны могут зайти в стайку, утащить кур или кроликов. Как это делал Коля Михайлов, что жил почти через дорогу от нас.

Когда я был пацаном его возраста, такое и не мыслилось. А как сосед Борис Уколов, взрослый молодой мужик, порешил гусака! Мать видела вечером, как гусак гоготал перед гусынями соседа. Наутро гусака не стало. Мать пошла к соседям. Борис сказал, что гусака не видел. А в деревянной бочке полно пуха и перьев. Мать, сделав вид, что не заметила, пошла за отцом. Когда они вдвоем пришли, бочка была пуста. Что свои Михайловы, что приезжий Уколов, — нечисты на руку. И слава богу, что вскоре новоявленных соседей не стало — припленные люди внезапно, как и приехали, сорвались с места в неизвестность.

Отец остался дежурить, я пошел домой. Дома рыбаки уже засыпали на сеновале.

— Ну как, клюет? — спросил я.

— Да неплохой клев! — ответил Виталий.

Зятя никогда не интересовало количество, ему был важен сам процесс.

— На ущицу-то добрую надергали, — ответил братишка. — Мать поутру ухой угостит. А ты куда уходил-то?

— Мать не сказала, что ли?

— Да мы не стали в дом заходить. В летней кухне перехватили — и на сеновал.

— Трактор угнали. С отцом ссадили за деревней Саню Шанина. Знаешь такого?

— Знаю. Ты ему рыло начистил?

— Нет.

— Придется самому разбираться.

— Я тебе дам разбираться! Мы уедем, они тут отцу так досадят, что не рады будем!

— Дивлюсь я на небо, дивлюсь на тебя, брательник! Совсем другой стал! Я на рыбалке думал про давешний разговор, про водохранилище. Тебя послушать — скоро и на план будет наплевать! А сейчас что я слышу — Шанина с миром отпустил! Не узнаю тебя! Ну прямо толстовец какой-то!

— Почему толстовец? Я не против! Живи здесь, чтоб у отца заступник при себе был, тогда кого угодно вздрючим — по-старинке, по-деревенски.

Ответа от брата не последовало.

— Давайте, мужики, спать, — предложил я им. — А то завтра вас не добудитесь.

Все трое затихли, но спать мне еще не хотелось. С незаколоченного конца крыши открывалась часть неба. Ковш Большой Медведицы уже заметно опустился ручкой вниз, а созвездие Кассиопеи сместилось чуть выше к зениту. Когда-то я увлекался дальними мирами. Но прав поэт — «в зрелости так не тревожат меня Космоса дальние светлы, как муравьиная злая возня маленькой нашей планеты...». Когда-то всерьез подумывал заняться астрономией. Впрочем, кем только не хочется стать в детстве! В четвертом классе прививал к черемухе смородину — чтобы получить смородину с косточкой. Хотел удивить мир и думал: как же никто не догадался это сделать, ведь черемуха и смородина дальние родственники! Привой, конечно, засох, и открытия не получилось... Теперь об этих увлечениях редко когда вспомнишь, но хорошо, что была среди них астрономия! Все другое отошло в прошлое, а вечное небо всегда со мной. Небо

вечно молодо и тебя тоже возвращает в молодость...

Хорошо бы утром проснуться безмятежно-счастливым, как в детстве! Теперь лишь редко-редко, когда съезжается близкая родня, посещает это благодатное чувство...

— Ребятки, сходите на совхозный ледник, — предложила мать, когда я утром спустился с сеновала. — Виталий уже проснулся, Нине помогает, а вы с Митей сходите.

Я начал тормозить Митю.

— Засоня, хватит спать, на работу пора!

А он норовил поспать еще, отворачивался. Тогда пришлось стянуть покрывало. И это не помогло. Былинка полезла в нос братишке. Громко чихнув, Митя открыл глаза.

— Вот так! Будь здоров и марш лед колоть!

— Какой еще лед? — удивился Митя, спускаясь с сеновала.

Узнав в чем дело, брат засобирался поэнергичней. Вскоре мы пошли к молочной ферме. Там каждый год зимой слой за слоем наращивали ледник, и он под укрытием соломы сохранялся на все лето. С одной стороны ледника солома была потревожена, когда ее откинули, проступил свежий скол льда. Пока Митя пешней накалывал лед, я решил обойти ледник, — а вдруг у подножия уже проклюнулись шампиньоны. Но грибов не было. На восточном склоне под увалом в леднике виднелось нечто вроде пещеры. Солома осыпалась и образовала небольшой просвет. Я шагнул туда и раздвинул соломенную завесу, — там дугой согнуло молодую черемуху, ствол ее выходил из льда, а макушка снова терялась в толще льда. Но на ветках, которые освободились из ледового плена, распустился цвет! Непривычно было видеть майскую цветень в середине лета, когда все давно уже отцвело в свой срок, а сейчас наливалось сочной тяжестью плодов и ягод. Цветы черемухи из-

давали еле уловимый терпкий аромат, какой ощущаешь, когда надломилшь молоденькую черемуховую веточку где-нибудь в апреле. И радостно, и грустно было смотреть на молодую черемуху, которая выглянула из толщи льда на белый свет и, обманутая теплом, не в свой срок начала предначертанный природой сезонный круговорот... Почему не в свой срок? В свой срок! Тяга к свету, к жизни во всем живом заложена изначально, и все живое пробуждается при малейших благоприятных условиях. И надо только радоваться за природу, которая сеет жизнь всюду, зная не зная наперед, что из этого получится. Налюбовавшись черемухой, вскоре подошел к брату, который уже наполнил льдом ведра.

— Там, с той стороны, черемуха цветет,— сказал я.— Хочешь посмотреть?

— В леднике, что ли?

— Конечно!

— Чего смотреть-то? Расстраиваться только на эту бесплодную красоту!

Мы вернулись домой. Мать с Ниной уже собрали на стол, ждали только нас.

— Давайте, мужики, мы потихонечку тронемся,— предложил я после завтрака, как старший, Мите и Виталию.— А то пока они соберутся, управятся по хозяйству, солнце вон куда взойдет!

— Чего это вы будете пехом-то ноги бить? — возразила мать.

— Да мы все и не усядемся на телеге,— нашел я оправдание, хотя мне просто хотелось выйти пораньше.

Сборы всегда хлопотливы: пока покормят домашнюю живность, пока приготовят поесть на покосе, пока приедет после дежурства на коне отец да соберет покосный инвентарь, а мать несколько раз переспросит его, взял ли он то, взял ли это,— уже, глядишь, и полдень. Нет уж лучше выйти налегке с литовками да начать косить. Да и что нам, молодым, стоит пройти до покоса. Только ноги разомнем!

Митя, может, и не прочь был потянуть время, даже прокатиться на телеге, но перечь старшему брату не стал. А зять

никогда не перечил, какое принимали решение, с тем он и соглашался. Правда, во дворе он первым делом взялся за удочку.

— Может, сегодня обойдемся без удочек? — спросил я с укоризной.

— Да я после покоса попробую, как там клюет.

— Ну тогда и я свою возьму,— сказал Митя.

— Тогда и мою прихвати,— не устоял и я.

Мы взяли удочки, литовки, оселки, емкость под воду и вышли из дому. Дорога шла мимо конного двора.

— Вы пока наберите воды на водокачке,— сказал брату,— а я глину на лошадей.

Их уже стали разбирать для рабочих нужд, но в загоне было еще немало лошадей. Они вздрогом кожи стогнали с себя надоедливых слепней, энергично били себя по бокам хвостами, порой зубами хватали друг дружку. Чуть в стороне от табуныщихся коней стояла лошадь с жеребенком, очень смахивающая на Гнедуху. Так вот — та Гнедуха не раз ухитрилась убежать домой, если оставляли во дворе жеребенка. Из-за него словно бы удесятерились ее силы. Потерялась как-то телка. Облазили поблизости все места, но не нашли. Прослышали, что видели ее на лугах, где откармливалось совхозное стадо перед сдачей на мясокомбинат.

С братишкой Митей и соседским мальчиком Ваней поехали искать телку. Запрягли Гнедуху и с утра тронулись, а жеребенок следом трусит... Веселая вышла поездка! Раскатывались по перелескам и полям, пока не нашли стадо,— где гороху кинем на телегу, где костяником и земляникой разживемся. Все было хорошо. Главное, свою телку Пестрянку нашли. Пастухи помогли ее поймать. Привязали телку сзади к телеге и тронулись в путь. И так велико было желание поскорее обрадовать домашних, что поехали напрямик, через тонкое место. На опасном участке дороги я слез с телеги и прошелся вперед. Топь сверху затвердела. Авось

проскочим, решил я и пустил Гнедуху. Поначалу лошадь ступала смело, но потом она вдруг утопла почти по колено и скачками двинулась вперед. Еще чуть-чуть, она сама бы выбралась на сухое место и телегу вытянула.

— Пестряна уперлась! — закричал тут Митя.

А мне и оглянуться некогда, погоняю Гнедуху. Парой рывков она подалась еще немного вперед, а потом — ни в какую! Это ей телка не дает выскочить из топи — уперлась, натянула веревку, хочет привязь порвать да назад отпрянуть. Эх, не догадались телку отдельно провести! Ребятишки бегают вокруг и плачут — жалеют Гнедуху, а та заржала, вертит головой да жеребеночка ищет. Он прибежал на зов, спокойно перешел опасное место и стал впереди. Я привязал телку к кустам, распряг лошадь. Гнедуха поняла, что телега ее больше не держит и наддала вперед. Но, видать, коленями снизу не могла пробить затвердевшую корку и осталась на месте. Что делать? Ребятишки погнали жеребенка вперед по дороге, а он тонко так ржет и норовит обратно, мать все зовет... Вот жеребенок, уже за согрой, снова подав голос, Гнедуха рванула и выбралась! Вытащить телегу было нетрудно: из веревки и вожжей сделали постромки, привязали их за концы оглобеля, Гнедуха дернула — и телега очутилась на твердой дороге. А с Пестрянкой тонкое место просто обошли.

Я больше уже лошадь не понуждал, она шла, как ей хотелось... Вот что вспомнилось про Гнедуху — старую, добрую работницу.

Я подошел к Мите и Виталию, которые в ожидании сидели на изгороди, и мы пошли дальше. Дошли до заруды. Здесь протекал небольшой ручеек, но потом бульдозером его перегородили, оставив для стока внизу трубу. Пруд покрылся ряской, выше росли камыши. Запруду эту сделали, чтобы поить телят, прямоугольная изгородь упиралась в пруд, телята в загоне могли свободно подходить к воде.

Об этом стаде телят как раз и писала мать в письме, тревожась за целостность покоса. Все трое разматывали удочки и давали следить за поплавками. А поплавки стали гулять постоянно — верхоплавки не давали наживке покоя. Но все же удалось вытащить трех карасиков. Ребята тоже поймали по несколько карасей-пятачков, пока снова не двинулись в путь.

Вот дошли до поляны, где каждый год мы семьей косили сено. Здесь были знакомы каждая кочка, каждая выбоина, каждый кустик. С края густо зеленеет кудрявый дикий горошек. Выше этой заросли кое-где пунцово выделяются головки татарского мыла. На этом участке трудно косить: стелющийся дикий горошек никак не желает отпасть от лезвия литовки, тянет назад. Ближе к дороге трава уже другая: понизу стелется клевер, встречаются изредка пучки зверобоя, цветет разный медонос. В центре поляны трава растет ровнее, но несколько реже. Там красуется ветвистая береза — давно облюбованное место отдыха семьи: открытое пространство хорошо продувается ветром, меньше комарья, паутов и слепней. С края поляны видно, как темнеют приставленные к березе прошлогодние жердочки. На другом краю поляны растет осинник. Там кочкарник и ивняк. За ними поле, по его краю снова тянется узкая полоса покоса.

Двинулись к березе. Митя накопил добрую охапку сена, подстелили под себя и сели, закурили. Потом я блаженно растянулся и стал смотреть на облака. Где бы ни был, когда нужно снять нервное напряжение или скорее заснуть, я мысленно представляю такую картину: после косьбы сильно устал, лежу под этой березой, руки и ноги наливаются свинцовой тяжестью, по телу разливается благодатное тепло, ветер треплет волосы, а сверху убаюкивающе шелестит листвою береза. Но сейчас никакой усталости еще не было, после минуты забытья снова вернулась бодрость. Я встал, скосил высокий стебель борщевика, очистил его, начал мерить, правильно ли насажены литов-

ки,— приставил один конец борщевика к пятке литовки, другой конец зажал большим пальцем на поперечной ручке и стал подводить от пятки к носку литовки. Отец, как всегда, сделал все на совесть: расстояние от ручки — что до пятки, что до носка литовки. Каждый подточил свою литовку, втроем пошли в сторону дикого горошка. Начали косить. Трава была вязкая. Размерно взмахивая литовкой, каждый постепенно втянулся в работу. Первый прокос был взят метров на двадцать. В конце прокоса я резким движением отделил валок от стоячей травы, вытер пучком сена лезвие, заточил, и все началось сначала.

Когда докашивали участок поляны с горошком, верхом подъехал Тихон Силыч, учетчик совхоза.

— Бог в помощь! — сказал он, слезая. — Значит, приехали родителям подсобить?

— А ты, Силыч, косишь? — спросил Митя, когда уселись на перекур.

— Я корову решил. больше не держать, — сказал Силыч. — А на малую живность и позже враз накошу.

— Как же, Тихон Силыч, без коровы? — возразил я. — Дед держал, отец держал, а ты пресекаешь крестьянскую традицию.

— Я еще в хрущевские времена хотел от нее отказаться, когда налогами поприжали, да жена заартачилась. Вы-то не помните, сколько мороки со скотиной было.

— Как же не помню, — сказал я, — когда сам помогал отцу прятать скотину. Это они не помнят времена, когда вместо хлеба горох с кукурузой ели, — подколот я зятя с братом.

— Они-то не помнят, это точно, — согласился Тихон Силыч.

— Не помню я про горох да кукурузу, — согласился Митя. — А вот коров, их и сейчас многие не держат.

— Держать-то не держат, — возразил Тихон Силыч, — ведь пошло с тех самых пор! Пустили под нож да распродали — теперь мяса и молока много вы видите? Отбили руки у людей, сейчас и рады бы

богатой живности во дворе да куда там: крестьянин поглядел — ничего, и без коровы можно и даже легче, да скинул с плеч одну заботушку.

— Силыч, у тебя и время есть, и конь под рукой, — сказал Митя. — Ты-то почему не держишь?

— Вот если бы детки были дома, тогда другое дело, — сказал Силыч. — Раньше хоть внуков привозили, а теперь и они далеко.

После перекура Силыч поехал ко Второй Чарушке (так называлась речка) обмеривать совхозное сено, а мы продолжали косьбу.

Остальные покосники приехали из дому только часам к одиннадцати.

— Добро вы скосили, бог вам в помощь! — сказала мать.

Отец распряг коня и отвел его к кустарнику, где трава была погуще.

— Может, отдохнете да перекусите? — спросил он потом.

— Да нет, мы уже посидели, отдохнули, а есть пока не хочется, — ответил Митя.

Все вышли косить. Отец, обычно только ладивший литовки, в первый день сенокоса всегда подключался к косарям. Начали с краю большой поляны. Когда я дошел до молодой осины, которая всегда служила ориентиром длины прокоса, оглянулся. Следом докашивал Митя. Он при косьбе малость торопился, но валок за ним тянулся добрый и стерня оставалась ровной.

Я вспомнил, как мучился с братом, пока не научил его косить. С правой стороны он все время оставлял высокую стерню, а когда сгребали сено, эта стерня цеплялась за грабли. Сейчас Митя уже заправский косарь.

Следом шел зять Виталий. Он глядел себе под ноги, взмахивал руками, будто сучья обрубал, но для горожанина косил сносно.

Дальше шла мать. Она была в выпцветшей косынке, завязанной назад. У матери привычка при каждом взмахе закусы-

вать нижнюю губу. Траву она после каждого взмаха накидывала на валок и при этом как бы наваливалась на ручку косы всем телом.

Следом шел отец. Косил он размахисто, но не споро. Иногда короткими движениями подправлял прокос. Так неспешно, основательно он привык делать все в хозяйстве.

Цепочку косарей замыкала Нина. Она была в цветастом платье и в новой нарядной косынке. А эта вообще оселок не признает, пока ей кто-то другой не заточит литовку.

Погода стояла солнечная. Косили до тех пор, пока не проголодались и не стало по-настоящему душно от дневного жара.

— Давайте, детки, отдохнем да перекусим,— предложила мать.— Негоже в первый день так шибко силы рвать.

— Сил еще невпроворот! — сказал Митя.— Пятюк рядов пройдем, можно и приесть.

— Хватит вам, молодым, ерепениться, — сказал отец.

— Тогда так, — распорядился Митя.— Отец готовит дрова, мать — чай, а Нина собирает душицу и зверобой на заварку. Мы пока покосим.

На том и порешили. Когда косарей позвали к столу, на скошенной траве лежали огурцы, зеленый лучок, яйца, а в чашке куски баранины. В кастрюле, снятой с костра, уже дымился приправленный разнотравьем чай. Нина, оказывается, снова ушла собирать травы. Вскоре она подошла с охапкой душицы и зверобоя.

— Нин, этого добра теперь на весь сезонос хватит, — пошутил Виталий.

— Увезем домой, подсушим и будем с тобой чаевничать всю зиму! — сказала она.

Нина с детства проявляла самостоятельность, «думала наперед», как говорила мать, так что зять с ней не пропадает.

— А я вам, детки, еще и варенья припасу, — добавила мать, ставя перед зя-

тем кружку молока и самый крупный кусок баранины.

— Как там Надя живет? Как наша Танюша? — вздохнула мать.— И писем, егоса, не плет. Хотя бы вернулась живой-здоровой!

— Да придет она, не беспокойся, — ответил я на заботы материнского сердца.

Мать всякий раз, когда семья собиралась на покосе, вспоминала тех, кого сегодня не досчитаться рядом.

После обеда мужики закурили, а мать с Ниной принялись мыть посуду.

— Подремлите малость, — сказал потом отец, — пока жара не спадет. А нам с матерью в деревню надо, я за вами приеду.

— Дай-ка, Василий, вожжи, я поправлю конем, — неожиданно сказала мать, когда запрягли Игреньку.

— С чего это ты! — удивился отец.

— Дай, дай! Я ль не верховодила на конном!

Отец покачал головой и передал вожжи матери.

— Н-но! — дернула она вожжи и шмякнула ими по бокам коня.

Игренька нехотя оглянулся: с чего это баба раздухарилась на телеге? Но огретый по крупу прутом, он слегка зачистил ногами. Снова получив посыл, понял, что отлынивать бесполезно, и побежал резвой рысью.

И покатила вдаль телега. Из века в век везла она нужду и достаток, горе и счастье, молодость и старость, печаль и надежду... Корова да лошадь — издревле две опоры крестьянского хозяйства. Лошадь для мужика, корова для хозяйки. Но мать говорила, что она всегда больше любила лошадей. Это, видно, в крови от ее отца, нашего деда, Ивана Тимофеевича, который был заядлым лошадиником. Когда еще до колхозов жили единоличным хозяйством, помимо рабочей лошади у них был серый в яблоках рысак Орлик. Мать была девчонкой, когда Орлик рос у них во дворе, а потом отец обучал рысак ездить под дугой в легкой кошевке. Ноги резвому рысаку отягчали тяжелыми под-

ковами на время объездки, но все равно Орлик летел, как ветер. Мать вспоминала: отец, бывало, выедет за деревню промять рысака — только снежная пыль вьется за кошевкой! А когда отец подъезжал домой, уже далеко за околицей был слышен топот копыт. Как ездовик ни осаживал лошадь — все равно Орлик несся бешеной рысью и проезжал дальше ворот. А если отец все же успевал свернуть к воротам, кошевка переворачивалась, и ездовик вываливался в сугроб. Мать поила, кормила рысака еще стригунком и потому его даже большого не боялась.

Во время войны мать работала на конном дворе. Под ее присмотром вырос вороной масти колхозный рысак Смелый. Он и впрямь оправдывал свое имя, — мало кто решался его запрячь или поставить под седло. Председателем колхоза была женщина, для развоза по колхозным полям она Смелого не запрягала, слишком много мороки, а когда надо выезжать по делам в район — для представительства обязательно закладывался рысак. Приходилось вызывать мать. «Что ты! Теперь таких коней гордых да резвых и нету!» — говаривала она.

Отец подъехал, когда косили на поле, что ближе к полю. Здесь, на косогоре, всегда брали листовое сено. Его метали отдельным стожком, оно шло на корм овцам и телятам, а ребятишки зимой любили в нем отыскивать клубнику.

— Что сюда-то перекинулись, там не докосили? — спросил отец.

— А чтоб чужие сдуру не полезли! — сказал Митя. — С них станется, сам знаешь!

С некоторых пор приходится, перескакивая с места на место, метить свою сенокосную территорию: были случаи, когда обкашивали наши поляны — столбили приглянувшийся покос. Пришлым людям, конечно, невдомек, что у этой территории есть хозяин, он не один год все тут обихаживал — выкорчевывал пни,

убирал хворост, не давал вымахать подросту кустарника.

— Много вы скосили! Молодцы! — похвалил отец. — Литовки шибко затупились? Отбивали?

— Нет, — ответил Митя.

— У Виталия и у меня еще нормально косят, а вот у Нины и Мити вконец затупились, — пошутил я. — Машут, будто чапыжник рубят.

— Ага! Сам взял лучшую литовку, вот и чешет! — в тон мне ответил Митя.

Отец слушал нашу перепалку и улыбался.

— Мы тут с матерью лес на примете держим, — сказал отец. — И просят не так дорого.

— Чтoб новый дом строить? — спросил я.

— Вот, вот!

— А зачем вам новый дом? — спросил Митя. — На ваш век и этого дома хватит.

— Погоди, Митя, — сказал я ему. — Может, отец прав. Поставим дом, женишься и будешь жить да поживать.

— Младший всегда оставался с родителями, — поддержал отец. — Был опорой старикам, оставался хозяином дома.

— Мне и так хорошо, — сказал Митя.

— Какая тебе разница, жить здесь или в поселке, где тоже как в деревне, — продолжал убеждать я брата.

— Там я на производстве, заработок приличный. А здесь мужики сколько зарабатывают? Копейки!

— Да эти копейки при своем хозяйстве-то значат больше, чем городские деньги!

— Вот ты говоришь, братец, и сам себе мало веришь. При своем хозяйстве! То-то я смотрю, тащат и тащат из магазина, тащат и тащат! Да все наше село из магазина и питается. Везде одинаковая тра-та!

— Ну хорошо, я с тобой в чем-то согласен. Отбили мужиков от земли, отбили. Но пойми, так не может без конца продолжаться, не может! Уже и сейчас есть кое-какие перемены. Со временем

начнется новое переселение людей — из города в деревню, я в это верю.

— Ну, ну! Что-то пока не видно этих самых великих переселенцев!

— Увидишь! И в будущем настоящим хозяином Земли будет тот, кто добывает человечеству пропитание. Заметь, Земли с большой буквы! Ее хозяином будет крестьянин!

— Значит, работа для брюха и есть смысл жизни? — усмехнулся Митя.

— Я тебя понимаю, — сказал братишке. — Живем не для желудка, согласен. Но для чего живем, в чем смысл жизни? На этот вопрос пока ни один мудрец не дал толкового ответа. Но смысл, наверное, есть. Его просто не может не быть! А пока этот смысл за семью печатями, что сейчас самое главное?

— Что?

— Жить дальше, прокормиться, продержаться!

— Выходит, наши механизаторы не просто кормят народ, а как бы на них человечество держится?

— А ты думал! Приезжай, живи в родном доме, и родителям будет легче. Построим дом, мы будем приезжать помогать, обростешь хозяйством — куда лучше!

— А сам почему не торопишься в таком случае в деревню? — с ехидцей спросил младший брат.

Я посмотрел на Митю и ничего не ответил. Что ему возразить? Оторвавшись от земли, я сам себе не раз задавал этот вопрос. Когда с женой одно время пошли нелады, поехал к родителям, взяв недельный отпуск без содержания, с намерением остаться в селе. Но приехала жена, помирились, и снова город затянул в свой повседневный водоворот. Но все же хорошо от мысли, что в случае чего можно в любое время вернуться на родную землю и продолжать дальше жить. В запаске как бы запасной вариант жизни, тылы обеспечены. Но все же, все же умом ясно понимаю, что все это бесплодные иллюзии, воздушный замок вообра-

жения. Оторвана моя жизнь от деревни и оторвана, может, навсегда. И потому вопрос Мити разбудил в душе томящее чувство вины...

Пока собирали пожитки, прятали подалее от чужих глаз сенокосный инвентарь, завечерело. Край неба забагровел, садящееся солнце в просветы облаков выстрелило золотые стрелы. В низинах Томи там и тут закурился молочный туман. И снова, как в прежние годы, катилась-пылила телега, увозя на ночлег усталых косарей...

Когда подъехали к дому, во дворе мать доила корову. Митя соскочил с телеги и открыл ворота, потом он распряг коня и поехал на конный двор отводить Игреньку.

— Приехали! — сказала мать. — А я так и не успела еще ужин готовить, только мясо закипело.

— Это мы сейчас, мама! — Нина взялась чистить картошку. — Виталя, набери угля покрупнее в углярке!

Зять с ведрами пошел просеивать уголь. А я погнал Зорьку за большие огороды, где она паслась до утренней дойки. Потом все, кроме Мити и отца, собрались в доме. Нина отправляла Виталия то за укропом, то за луком, то за петрушкой в огород. Муж послушно таскал зелень, притом ни разу не выразил недовольства, хотя Нина могла б попросить принести сразу всю огородную приправу, и Виталию не пришлось бы совершать три ходки каждый раз лишь за одним пучком.

Вошла тетя Поля Тихеева.

— Анна, так вы, слыхала, расписались?

— Ой, не говори! — махнула рукой мать.

— Так это надобно отметить! — серьезно сказала Тихеева. — Это ведь не шутка.

— Ой, Поля, хватит! — опять махнула рукой мать. — Нашла событие — закорючку да печать!

Тетя Поля скрылась за дверью. Я слу-

шал разговор, ничего не понимая. Виталий с Ниной чистили и крошили приправу и к разговору не прислушивались, говорили о чем-то своем.

— Мам, так вы с отцом не расписывались, что ли? — спросил я, все больше удивляясь.

— Нет, сынок.

— А почему?

Тут только Нина почувствовала что-то необычное и наострила уши:

— Мам, ты ведь сама рассказывала, что у вас свадьба была!

— Свадьба-то была-а!

— А-че тогда не регистрировались?

— Так свадьба когда была? Еще до войны!

— А свадьбу гуляли без регистрации, что ли?

— Тогда на это не смотрели, — улыбнулась мать.

— Потом бы, после войны зарегистрировались!

— А потом, доченька, не до этого было.

— Интересно! В город приедешь — в гостинице и то без регистрации врозь поселят. Без печати как докажешь, что муж и жена!

— Глянь-ка! Шибко мы с отцом по гостиницам разночевались! — засмеялась мать.

— Ну что ты пристала: расписались-не расписались, — подал я голос. — Прямо допрос какой-то! В этом разве дело?

— И в этом, и в этом! — настаивала Нина. — А как же законность?

— Для вас, может, и в этом. Сейчас без печатей и справок и шагу не ступишь, а раньше и без того жили.

Вошел отец.

— Ну что, отец, можно поздравить с законным браком! — встал я ему навстречу.

Он только улыбнулся.

— Папа, раньше не мог с мамой расписаться! — упрекнула его Нина.

— Так паспортов же не было — некуда печать ставить, — отшутился отец.

— Мы и так перед богом муж да жена, — поддержала его мать.

— А бога-то нету!

— Ну бог, доченька, — это твоя совесть будет.

— А в церковь не ходили? Я бы тоже пошла венчаться!

— Звала его, — мать с упреком посмотрела на отца. — Куда там! Тогда парни такие богоборцы были — не приведи господь! Только и делов-то, что обручились, — добавила она позднюю обиду.

— Мама, я была маленькой, помню — у тебя белое колечко. Это обручальное?

— Оно, оно! Серебряное! Мне его еще твоя бабушка передавала. Ой, дура, потеря-я-ла! — завздыхала мать.

— Ничего, папа теперь новое купит, золотое, — утешила дочь.

— До колечек мне теперь, старой!

— Это как же так мы незаконные-то жили! — сказала Нина.

Все засмеялись.

— Вы самые законные! — гордо сказала мать.

— Ну да, перед людьми и совестью. Это я понимаю.

— Ну раз понимаешь — подавай на стол, — напомнил Виталий.

— Слушайте, а как же нам документы выдали, если родители не расписанные были? — спохватилась вдруг Нина.

— Под честное слово, что мы — это мы, — пошутил я. — А вам и вправду паспорта не давали?

— Что я — наговаривать буду!

— Никому?

— Редко кому.

— Ну а как же люди ездили без документов? — опять спросила Нина.

— А редко куда выезжали.

— Выходит, вы как крепостные жили? — изумилась Нина.

— Почему как крепостные? Некогда было разъезжать — работали.

— И в город ни разу не ездили?

— Ездили. Когда матери операцию делали.

— Без документов?

— Почему? Колхоз справку выдал.

— Дался, Нина, тебе этот паспорт, — сказал Виталий.

Нина пристально посмотрела на мужа — она не привыкла к возражениям Виталия. Два возражения за вечер — по ее понятиям, это уже слишком!

— Тут дело вовсе не в паспортах, — сказала Нина. — Они что — так и жили без свободы?

— Какая свобода, когда от зари до зари работа! — сказал отец.

— Да мы и не помышляли ехать куда-то, — поспешила вставить мать, боясь, что дети не так поймут.

— А как же молодым, если хотят на производство или на учебу? — не унималась Нина.

— Не отпускали. А как вырвутся — назад не жди.

— Ну и правильно! — сказала Нина. — Что молодым — на привязи сидеть!

— Вы-то это время не застали, — сказал отец. — А вот Николай, сын Тихона Силыча, после армии и носа не казал — захомутают!

Вернулся с конного двора Митя.

— Ты знаешь, какое у нас событие? — обратилась к нему Нина.

— Знаю.

— Как — знаешь!

— Знаю! Отец с матерью поженились.

— Откуда ж ты узнал?

— Вся деревня говорит. На конном тоже. Еще и Тихеевы доложили, они к нам сейчас пришествуют.

— Ой, и впрямь собираются! — сказала мать. — Ну, эту Полю!..

Мать пошла в соседнюю комнату и вскоре вышла в новом платье и в нарядной косынке.

— Придут так придут, — сказал отец. — Свежинины отведают.

— Отец, ты тоже давай-ка надень новую рубаху, — сказала мать.

Отец махнул рукой.

— Надень, надень!

— Папа, надень, конечно! — поддержала Нина.

Отец вышел из-за стола. Мать достала из шифоньера свежую голубую рубашку-безрукавку, он в обнове сел за стол. Вскоре пришли Ефим и Полина Тихеевы, принесли бутылку водки.

— Вот выдумали тоже! — сказала мать, встречая гостей.

— А как же! — ответил Ефим. — Давненько вместе не сидели, а тут повод.

— Дети приехали, сенокос начали, — говорили по-другому повернуть внезапный приход соседей к нам отец. — Можно и посидеть.

— А ваши молодые где? — спросила мать.

— Как ушли за ягодой, так и нету. Может, к своим зашли, — предположила тетя Поля.

Мать как-то раскраснелась вся, оживилась. Она слезила в подполье и тоже достала крепенького.

— Гляди-ка, и впрямь свадьба! — засмеялась Тихеева.

— Какая там свадьба! — ответила мать. — Свадьба во-о-он когда была! Вся жизнь прошла!

— Ой, не говори! Жизнь так ведь и прошла! — вторила тетя Поля матери. — Всего нахлебались! Твой-то хоть живой вернулся!

Отец сидел довольный, улыбался. Ефим почувствовал себя тоскливо, будто он виноват, что ему не хватило годков и лишь потому, может, остался в живых. Был он намного моложе своей жены, и все удивлялись, почему при обилии невест так горячо полюбил он вдовую солдатку Полю. Но жили они душа в душу, старший сын тети Поли Николай, от невернувшегося с фронта Петра, давно уж на стороне.

— Как у вас с покосом? — спросил Ефим отца, стараясь перевести разговор на другую колею.

— Вроде ничего. Телята не потравили, травостой удался. А у вас?

— На согре пусть подрастет малость, а в низине трава вымахала добрая.

Мать с Ниной стали подавать на стол.

Только-только пропустили по первой, в дверях предстал Иван Клепиков.

— Что за гулянка у вас? — сказал он, поздоровавшись.

— Свадьбу гуляем! — ответила тетя Поля.

— Понятно, — сказал Иван, но по его лицу было видно, что он ничего не понимает.

— Они сегодня расписались, — продолжала объяснять тетя Поля.

— Где расписались?

— Ой, Иван, ты разыгрываешь, что ли? Где расписываются муж и жена?

— Так они не расписанные были?

— Сегодня и расписались!

— А-а, — протянул Клепиков, не проявляя особого интереса и косясь на стол.

— Садись, Иван, садись, — пригласила мать.

Дядя Ваня подсел к столу. Митя, Виталий, Нина уже перекусили и заторопились в клуб. Я вышел вместе, закрыл за ними калитку, закурил и облокотился на городьбу. Кое-где хлопали двери, слышались изредка голоса. Улица постепенно затихала... Как же так получилось, что только сейчас узнали про родителей такую новость? Какие же мы нелюбопытные! Краем уха, правда, слышал про свадьбу, которую сыграли еще до войны. Мать долго ждала отца, оттого и дети поздно родились... Вот тебе и еще один отголосок войны... Это на какую же протяженность во времени она, проклятая, раскатилась!.. Отец меня не раз экзаменовал по географии Европы, которую он познавал в пехоте, на своих двоих. В рассказах о войне у него не все выходило так, как излагали в учебниках по истории или в литературе. Я слушал отца с удовольствием за его навязчивость: родитель обычно говорил о войне лишь выжившим, отвлекая от книги или телевизора. А когда я повзрослел и стал жить самостоятельно, в редкие мои наезды домой таких разговоров уже и вовсе не было. Нужен был этот телевизор! Да и книги подождали бы! И ведь ни разу с отцом

толком не посидел, не порасспрашивал его! Теперь на памяти только какие-то обрывки из отрывков разговора. И вообще, что мы знаем из своей родословной, о прошлом родных? Что-то о дедах и чуть больше о жизни родительской. Как мы это знаем — сегодня вот и выясняется. Даже о родительской регистрации узнаем после соседей! А дальше бабок и дедок в родословной безвестность полнейшая, будто мы лишь пару веков назад взяли невесту откуда, а ведь нити жизни тянутся до нас из глубин веков!..

Я вошел в дом. За столом пели песню «Ой, мороз, мороз...».

— «Не морозь меня, моего коня!» — высоко вытягивала мать.

Может, в эти минуты ей представлялись годы лихолетья, когда она работала на конном дворе и Орлик был тем самым конем.

«Я вернусь домой на закате дня», — хрипловато выводил отец низким голосом. Может, ему вспоминались военные годы, когда никто не знал, доживет ли до следующего дня.

— А ты разве не пошел в клуб? — спросила мать, когда допели песню.

— А че ему вертихвостничать с молодыми! — сказала тетя Поля. — Ведь он уже мужик!

Слегка задело, что меня уже отделяют от молодежи, которая посещает клуб. Я никакой разницы не видел. А что женат, отец ребенка — так есть холостые и постарше меня.

— Сынок, посиди с нами, — предложил отец. Он весь как-то по-доброму размяк, лицо посветлело, даже морщин на лице стало меньше. Я уже давно не видел, чтобы отец так чисто улыбался. Он ласково обнял меня за плечи:

— Ефим, а Ефим, глянь-ка на моего! Чем не гвардеец!

— Володя молодцом! Помощничек — лучше не бывает! — похвалил Ефим Тихеев.

По лицам мужиков я понял, что они уже, хорошо вышив, достигли гармонич-

ного душевного состояния, когда за столом действительно царит праздник и когда бывают все дружны, в оценках и мнениях так же дружно хватают через край. Вот и Иван Клепиков счел своим долгом поддержать компанию.

— Он с нами с детства на конном! Я его как пять пальцев знаю — во парень!

— Да все они у меня — во! — расхвстался отец. — Всех в люди вывел!

— Да уймись ты, старый! — пыталась остановить его мать. Но куда там.

— Гляди, Ефим, Иван! — продолжал отец, все больше распаляясь. — Сколько их у меня! Вон какие выросли дети! А фашист, гадина, хотел мой род подчистую! Не вышло!

— Сколько народу, изверг, загубил! — поддержал дядя Ваня.

— Извести нас хотел! — стукнул по столу отец. — Сам же и подох в своем бункере! Изведи, попробуй! Я назло Гитлеру вон какую гвардию поднял!

— Три брата, три брата! — горестно замолот головой дядя Ваня.

Клепиковых ушло на фронт четверо — Савва, Михаил, Иван, Николай. И вот остался один Иван в живых.

Мы с Ефимом Тихеевым кое-как успокоили фронтовиков.

— Давайте, помянем всех, — предложил Тихеев. — У меня ведь брат и дядька не вернулись.

Выпили за павших.

— А помнишь, как накрыло Капустина? — обратился Иван Клепиков к отцу.

— Помню.

— В своей же могиле! Точным попаданием!.. Всегда думал, коли погибать — лучше как Капустин, легкой смертью.

— Я что-то насчет могилы не понял, — сказал я дяде Ване.

— А-а! — махнул рукой Иван Клепиков. — Поначалу каждый окапывался сам по себе, так держали оборону.

— Как это — каждый сам по себе? — опять спросил у него. — Разве не было укрепленных линий, окопов?

— Слушай Ивана, — сказал захмелевший отец. — Так и было!

— Это же тоскливо!

— Ясное дело! — продолжал Иван Клепиков. — Потому и паника бывала. Окопался — как могилу себе вырыл, и напроць отрезан от мира!

— А как же с остальными поддерживали связь?

— Никак не поддерживали! Сидишь в своей могиле, чуть выглянул — вот она пуля-дура! Ждешь приказа командира, а их, командиров, снайпера перещелкали. Сидишь и черт-те че в башку лезет!

— Так уж и снайпера!

— Точно! Фашист имел снайперов особо — для комиссаров да командиров. Че тут гадать-то! Идет впереди цепи, значит, командир. Вот и щелкали, пока наши не сообразили. А ты сидишь в окопчике и ждешь приказа.

Я тоже в армии рыл окопы в укрепрайоне и представил, как бы один лежал в отдельном окопчике и держал оборону, не зная обстановки ни справа, ни слева. Бр-р! Жуть! То ли отступают, то ли убиты, то ли противника подпускают поближе — ничего неизвестно!

— Я про это нигде не читал, — сказал я.

— А кто ее знает, всю правду? — спросил Иван Клепиков. — Молодежь и подавно. Вам одни правильные слова говорят.

— А в колхозах! — поддержал разговор Ефим Тихеев, который говорить на военную тему вроде бы особых прав не имел. — В газету уткнешься — все колхозы богаты, досрочно рапортуют, во двор зайдешь — шаром покати!..

Мужики выпили по новой и закурили. Я же пошел в соседнюю комнату. Туда, оказывается, уединились мать с Полиной Тихеевой.

— А Маруся уже совсем ослабла, — рассказывала мать. — Дали мне справку — вези хворую домой.

Тетя Поля сидела, подперев рукой подбородок, кончик платка подводила к глазам.

— Уж как мы добирались-ись, не приве-

ди Господь! За кипятком бежать — Маруся: не оставляй меня одну! Боится: отстану — одна совсем пропадет. Раз пошла за кипятком, чемодан прямо при ней и украла. Лежу, говорит, язык отнялся, а он с меня глаз не сводит и рукой — до чемодана. Благо, документы и деньги при мне, а то приедем — кто поверит, ну прямо дезертиры!

Чтобы не мешать, тихо вышел во двор и сел на бревно. Рассказ матери о возвращении с торфоразработок я слышал еще раньше. Она привезла оттуда домой заболевшую напарницу. Если бы не Маруся, говаривала мать, бедовать бы ей одной! «Все бы застудила на этом чертовом болоте, и вековать бы, детки мои, мне без вас на свете!» Но что это были за торфоразработки, почему туда посылали колхозников — все это почему-то раньше не интересовало. Почему, почему мы такие равнодушные? Кто же тебе про все это расскажет? Ведь у книг не переспросишь. В книгах-то про других, а тут прямо про твоих родителей. И кто тебе расскажет, когда их уже не будет в живых!.. Постой, постой, их же не станет на свете! Впервые мысль об этом наполнила душу. Кроме бабушки, которая прожила девя-

нasto четыре года, — никого еще в родне смерть не коснулась. И я совсем-совсем не был готов к этой мысли.

Перевозчик-водогребщик,
парень молодой,
перевези меня на ту сторону,
сторону — домой...

— пели за стенкой в три голоса.

Только перевоз-то не домой, а совсем в другую сторону — сторону невозвратную!.. Тут вспомнилось: «Может быть и мне пора в дорогу бранные пожитки собирать...» Собирать пожитки... А ведь это родители устраивают дела свои земные!.. — догадался я. Жили, жили и вдруг — регистрация... Неужели они уже так ясно и деловито загодя начали готовиться? Неужели такое возможно!.. Неужели оборвутся кровные узы, отживут, отсенокосят отец с матерью, и не к кому будет приезжать в деревню! Да и незачем: вместе с родителями отойдут и крестьянские заботы...

И как я это себе представил — ясно понял: тогда и от меня отсекутся мощные корни, питающие мою душу, тогда и я лишусь важного, несказанно сокровенного на земле...

Владимир Ширяев



* * *

Лозунги наши были:
«Сделаем сказку былью!»
Это желанье лихое
выполнено с лихвою. —
То, чем жилось, мечталось, —
сказкою оказалось.

ПОДРАЖАНИЕ БРЮСОВУ

— Каменщик, каменщик, в фартуке белом,
Что ты там строишь, кому?

В. Брюсов

— Строим дворец, небывалый в истории!
Там расположится рай!
— Вместо дворца вы, ребята, построили
тесный и темный сарай.

Не перестроить. Тут надобно новое.
— Так растолкуй нам, поэт:
или прорабы все были хреновые
или дурацким — проект?

БАЛЛАДА О ГВОЗДЯХ

Нету гвоздей. Я иду в магазин.
Гвоздик хотя б на прилавке один!

Город обегал я. Только везде
Мне отвечали: «Нету гвоздей».

Кто отвечает за выпуск гвоздей? —
Гвозди бы делать из этих людей!

АРТЕЛЬ

Раз демократии народ захотел,
мы собираем на сходку артель.

Рядом со мною вприпрыжку бегут
Васька-воришка, Колян-баламут.

Митя-пропойца, фарцовщик Тарас.
Кто ж председателем будет из нас?

* * *

Как и десять дней назад,
в царственном бездельи,
мрачно вороны сидят
на высоком дереве.

Закричу на весь наш сад!
Взмоют без оглядки.
Опустились. Вновь сидят.
Но в другом порядке.

ГОВОРИТ БЫВШИЙ УЗНИК КОЛЫМСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ СИЗОВ:

— Тогда, в тридцать седьмом,
эволюция
дала задний ход.
Мы в лагерях
расчеловечивались,
превращались в животных.
И в этом тоже
первостепенную роль
играл труд.

* * *

Вам, которые так жаждут войти в историю,—
вы уже вошли в нее.

Вы уже заняли свое место

в историческом музее —
редкие экземпляры минувшей эпохи.

И хотя вы

двигаетесь, разговариваете

и даже можете завести еще одну любовницу,

вы — мертвы.

* * *

О том, что мчим вперед,

мы дружно пели песни.

И вдруг узрел народ

себя на том же месте,

откуда марш-бросок

он начинал когда-то.

И слышен голосок:

«Надули нас, ребята!».

Опять в стране развал,
опять несется: «Хватит!»
Опять девятый вал
неудержимо катит.

Вновь улицы кипят,
опять лафа поэтам.

И лозунги опять:

«Вся власть — Советам!»

Итак, каков итог?
Замкнулся круг? Едва ли.
Еще один виток
прошли мы по спирали.

Сияющий чертог
стал ближе на вершок.
Передохнем чуток
и — снова в путь, браток!



НЕБЕСНЫЙ АЛКОГОЛЬ

Крепчайший звездный спирт,
Настойный на листьях
Туманностей, планет,
Всю ночь сквозит с небес.
Советский человек,
Борец с алкоголизмом,
Сурово смотрит вверх,
С бутылками и без.

Тот смотрит в телескоп,
А этот в телевизор,
А этот сквозь очки,
Разбитые впотьмах.
И тысячи проблем
Толпятся под девизом
«Объявим пьянству бой!»
И мечутся в умах.

Советский человек,
Чтобы забыть о звездах,
Пил водку, спирт, вино,
А также самогон.
Теперь он может пить
Крепчайший звездный воздух,
Но чем его заесть,
Не говорит закон.

Душа его горит,
И скоро будет поздно,
А ясный сок плодов
Течет с небесных тел.
И весело глядит,
Возделывая гроздь,
Хозяин тех садов,
Небесный винодел.

ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ

*Ты в поля отошла без возврата.
Да святится Имя Твое!*

А. Блок

Тебя шмонал охранник в Магадане
И фаловали урки в лагерях.
Ты шла в сорокаградусном тумане,
Мостя социализма светлый шлях.

Не ты ли петербургскому поэту
Привиделась когда-то в лунных снах?
Не ты ли незнакомою в карету
Всходила с алой розой в волосах?

Ты руки обмороженные грела,
Стараясь не упасть и не уснуть.
Ты все преодолела, все стерпела,
Мостя социализма светлый путь.

Не ты ли восхищенному поэту
Явилась Девой Радужных Ворот?
Не он ли, потрясенный, сцену эту
Увидел в свой последний, страшный год?

И если ты немеркнущим сияньем
В надзвездных высях вся озарена,
Согрей скорбящий дух своим дыханьем,
Утешь его, Блаженная Жена!

МИФ НАШИХ ДНЕЙ

Многообилен наш город мясом, вином,
овощами,
Фруктами, сыром, икрой, рыбой,
дарами морей.

Масло здесь есть, молоко, сливки,
кефир и сметана,
Есть шоколад и халва, кофе и мед золотой.
Если придешь в магазин,
ласково здесь тебя встретят,
Точно отвесят товар, все принесут,
завернут.

Всюду уют, чистота, добрые всюду улыбки,
Люди довольны — у них нет ни проблем,
ни забот.

Улицы здесь зелены —
клёны растут с тополями,
Липы и вязы вокруг, скверы прохладу дают,
Множество разных цветов, всюду ухожено,
чисто,

Дышится словно в лесу —
воздух медвяный такой.

«Ну и наплел, фантазер,—
скажут мне трезвые люди —
Где это город такой видел ты — может,
во сне?»

Или дурманной травы нынче
с утра накурился?»

«Люди,— отвечу я им,—
это же миф наших дней!».

ВЫВОД

Хорошо быть старым дураком,
Слушать песни звонкие эпохи
И с трибун рассказывать о том,
Что дела у нас совсем неплохи.

Хорошо быть старым мудрецом,
Знать, что ложь на истину похожа,
И, встречая жизнь к лицу лицом,
Тихо уповать на милость Божью.

Плохо быть ни тем и ни другим,
Понимать, что мир прогнил до нитки,
И скреплять дыханием своим
Истины разодранные свитки.

Леонид Сергачев

ЧТО СКРЫТО ЗА СЛОВОМ?

Изменена статья шестая Конституции СССР. Дозволена многопартийность. Однако споры вокруг третьей по счету Конституции не утихают. Кому-то не нравятся принципы союзного устройства, кого-то шокирует недемократическая система выборов и то, что первый Президент опять же представляет «руководящую и направляющую»... А в целом с устраниением известных недостатков Конституция, как и ранее, вполне могла бы считаться образцом для подражания.

Не разделяя такого взгляда на Конституцию, давно приобретшего прочность народно-го предрассудка, приглашаю читателя посмотреть на нее с позиций формальной логики. Уверю вас, мы увидим, как ловко нас провели!

Вспомним вначале, что Конституция — это юридическое выражение независимости гражданского общества относительно собственного государства. Конституция и возникла-то как завоевание буржуазии, представляющей гражданское общество, как результат разгрома абсолютистского государства и создания нового, относительно контролируемого обществом государства. Отражает ли наша Конституция нашу власть над государством, разделяет ли нас и его, защищает ли нас от него? Ведь марксизм всегда критиковал буржуазную Конституцию и буржуазные свободы за их недостаточность, а вовсе не за их наличие. Народ свободен всего лишь постольку, поскольку свободен от своего государства!

Нацеленность нашей Конституции мы мо-

жем почувствовать в первых ее строках, во введении. «Советское государство — государство нового типа, основное орудие защиты революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма».

Не для нас Конституция писана, для государства!

Пусть так. Но в чем же необычность этого государства? В том, оказывается, что оно «есть орудие защиты революционных завоеваний» и, подумать только, «строительства социализма и коммунизма». То, что государство выполняет известные объективные функции, известно всякому, но то, что оно есть орудие, без которого невозможно построить новые общественные отношения — социализм и коммунизм — это же перл! Авторы Конституции, называющих себя коммунистами и ленинцами, не смущает даже то, что государству предстоит быть основным орудием построения общества, при котором ему нет места. Зачем же понадобилась такая фетишизация своего государства? А всего лишь затем, как мы сейчас увидим, чтобы сразу заложить в обоснование существующего порядка примат государства и, следовательно, чиновника над обществом и гражданином.

Нельзя похвалить авторов документа и за оригинальность мышления. Всё мы где-то читали. Вот они, эти строки: «Диктатура пролетариата есть орудие пролетарской революции, ее орган... вызванный к жизни для того, чтобы, во-первых, подавить сопротивление свергнутых эксплуататоров (защита револю-

ционных завоеваний — в Конституции), во-вторых, довести революцию до полной победы социализма». Не правда ли, почти идентично! Нет, я не обвиняю отцов Конституции в плагиате, в том, что они почти дословно переписали строки из статьи И. Сталина «Основы ленинизма», но указываю на идентичность мышления.

В 1 статье Конституции говорится: «Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны».

Трудящиеся сами свои интересы не выражают! Они объект государства, в то время как оно по отношению к ним — субъект. Оказывается, государство, чиновник знают лучше, чего мы хотим, чем... мы сами. То, что у государства, а в персонифицированной форме у чиновничества есть свой собственный интерес — это мы знаем и вполне допускаем. Но почему бы не допустить, что у простого человека есть частный, а у гражданского общества — общественный интерес, который они тоже должны быть в состоянии выразить и как-то осуществить? Почему заранее, без приведения каких-либо обоснований, гражданам отказывается в праве на самовыражение, а государство наделяется творческой силой? И откуда, наконец, начальству знать, каков он — наш интерес? Чтобы людей наше правительство о чем-то спрашивало, никак не припомним. Да и нет в этой статье Конституции и намека на то, что государство каким-то образом узнает об интересах народа. Здесь заложено совсем другое, а именно: что наше государство по природе своей есть носитель общего интереса и стало быть нет и нужды узнавать его. Государство — родитель, мы — его дети. А родителю ли не знать, что нужно его детям!

И вот после того, как патерналистские отношения установлены, декларируется власть народа. «Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР».

Содержание статьи 2 построено по принци-

пу: если государство выражает интересы народа, то почему бы не сказать, что народ имеет власть в лице государства. Но в том-то и дело, что нельзя быть в одно и то же время и рабом, и господином. В том-то и дело, что здесь одно исключает другое. Сказать, что народ имеет власть в лице государства, все равно что сказать: в рабовладельческом обществе власть принадлежит рабам, которую они осуществляют через ... рабовладельцев.

Как видите, нас надули самым бессовестным образом. Однако почему же столь грубая ложь не вызывает у нас протеста, почему мы в лучшем случае ограничиваемся сетованием, будто славно написано на бумаге, да вот в жизни не так? Мы не замечаем обмана по одной причине: на радость составителям Конституции мы отождествляем государство и общество. Вот и получается, что власть государства ассоциируется с властью народа. Однако государство тождественно не народу, не гражданскому обществу, а чиновничеству, т. е. тому слою людей, действительно имеющих власть, который составляет тело государственного аппарата. И если уж угодно включать в понятие государства ту часть, которая никак к государственному аппарату не относится, то включайте ее, но с одним непременным условием: она объект государства, а не субъект его. Точно так же, как в понятие «всадник» входит, но в качестве предполагаемого дополнения или объекта — лошадь.

Этот софистический прием, когда меняют местами власть и объект власти, пронизывает все содержание нашей Конституции. Поэтому нет нужды впредь на нем особо останавливаться. Отметим еще одну характерную особенность: подмену научных понятий. Так, в статье 3 говорится, что организационная деятельность строится по принципу демократического централизма, и тут же дается пояснение ему: «выборность всех органов государственной власти снизу доверху, подотчетность их народу, обязательность решений вышестоящих органов нижестоящим». Но ведь это характерные черты не демократического, а бюрократического централизма. Именно для по-

следнего характерно деление на «верхи» и «низы», отношения господства и подчинения. Слова о выборности, о подотчетности народу призваны скрыть существо дела, именно то, что обратная связь уничтожена. Невозможно сочетать принудительные отношения с инициативой и творческой активностью.

Между тем для демократического централизма характерно как раз другое: равенство всех частей, составляющих единство. Еще на примере Парижской Коммуны Маркс показал, как можно обеспечить единство нации, не прибегая к подчиненности, но основываясь на самостоятельности и независимости всех коммун, которые должны были образовываться за пределами Парижа. Маркс особо подчеркивает принцип равенства центра и того, что в него непосредственно не входит. Нет, не случайно авторы нашей Конституции разъясняют нам, что нужно понимать под демократическим централизмом. Верно опасаясь, что кому-нибудь может прийти в голову заглянуть в первоисточник и уяснить, как рассматривает государственное устройство победившего пролетариата Маркс. Но ведь даже по грамматическому смыслу демократический централизм означает единство народной власти. Здесь нет и намека на подчиненность или господство. И опять-таки, как и ранее, слова о выборности «вышестоящих органов» и в то же время «подотчетность» их народу должны, по замыслу, создать иллюзию равенства. Но если выбирать приходится власть имеющих, то иллюзией становятся уже сами выборы. Ведь для того, чтобы выбирать, необходимо сначала установить равенство с тем, кого выбирают, однако нам заранее говорят о том, что мы — «низы», а те, кого мы выбираем — «верхи».

В действительности это толкование «демократического централизма» несет в себе одну смысловую нагрузку: не допустить волеизъявления избирателей, ограничить их свободу.

Третья статья Конституции итожит положения, изложенные в первой и второй статьях. Она по существу ничего не прибавляет к ним, а только разъясняет процессуальную форму реализации принципов политической системы, изложенные ранее. Если бы Консти-

туция имела целью отразить примат гражданского общества, то нам пришлось бы дать не только иное толкование демократического централизма, но и предварительно изменить предыдущие статьи. Ясно, что главенство общества над государством само собой предполагает статью ныне вторую сделать первой, оставив ее без изменения. Но теперешнюю первую пришлось бы не просто сделать второй, но изменить по существу. Именно, указать, что государство есть орган, подчиненный гражданскому обществу, сведенный к исполнительной роли, и дать пояснение, каким образом общество контролирует его.

Четвертую статью безусловно следует рассматривать как курьез. Ведь речь в ней идет о том, что государство обязуется действовать по законам, им самим издаваемым. Но государство не имеет закона точно так же, как деньги не имеют цены. В этой статье скрывается смутное признание, что государственная машина иерархична, построена на подчиненности низших ступеней государственной лестницы высшим и таким образом сама себя контролирует.

Кто из нас не испытывал чувство горечи и бессилия от бездействия нашей Конституции, декларирующей возможность для государства советоваться с народом в процессах принятия решений. Между тем нет никаких оснований упрекать наше правительство. При условии, когда общественный интерес и общественное мнение отделены от самого общества и закреплены за государством, последнему нет нужды обращаться к обществу за советом. Поэтому требования о проведении референдумов бессмысленны, потому что признание за государством свойства быть выразителем общественной воли снимает вопрос о воле общества.

Как видим, еще не рассматривая по существу злополучной шестой статьи, мы можем уверенно констатировать, что ее содержание и ее дух достаточно полно отражены в каждой рассмотренной статье Конституции. Но авторам брежневской Конституции мало издать Закон, согласно которому государственная власть пожирает гражданское общество,

они хотели бы отразить, что государство в свою очередь поглощено партией.

«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и следует народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.

Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР».

Теперь вырисовалась целиком модель политического устройства нашего общества: партия как воплощение....— да-да! — абсолютной идеи, государство — политическое тело партии, народ — очеловеченная или, лучше сказать, опредмеченная идея масс, у которой партия и государство суть душа и сила. Абсолютная идея названа в Конституции марксовым учением.

Если бы Маркс не умер, вот он бы удивился!

Ведь согласно его учению творческой силой наделен только народ. Что до партий, то они продукт жизнедеятельности его, выделяются из него, но и ум, и силу черпают в нем. Однако бюрократическое мышление своеобразно. Чиновник воображает, что именно благодаря его воле люди работают, отдыхают, со-

вершают поступки. Кажется, стоит не сделать соответствующего распоряжения, и жизнь мгновенно остановится.

Разумеется, в основе этого заблуждения есть и объективные предпосылки. Выделение функции управления как особого вида общественного труда может привести к потере контроля над ней со стороны общества. Но, чтобы это произошло, недостаточно закрепления этой функции за определенной группой лиц, нужно, чтобы эти лица встали над обществом, превратились в определенный слой, спаянный групповым интересом. С этого момента управленческое распоряжение становится приказом, т. е. распоряжением, уже несущим в себе насилие. Сознание же, сформированное в условиях принудительного труда, фиксирует принуждение и управление как одно и то же. Только на известной ступени общественного развития становится очевидным, что управленческий труд по природе своей вовсе не связан с принуждением. Однако корпоративный интерес порождает свой взгляд на вещи. Срастаться-то приходится с властью и через нее (следовательно, заранее предполагая ее) видеть явление.

В нашей Конституции это заблуждение возведено в степень и доведено до абсурда: вся власть в СССР принадлежит народу, т. е. государству, т. е. партии, т. е. ее вождям.

Нет нужды разбирать поштатно все содержание Конституции СССР. Выявлен ее метод. Этого достаточно.

Заблуждение, ставшее очевидным, теряет силу. Пора перестать верить в то, что написано, и написать то, во что верим!

Татьяна Ивницкая

БУДЕМ ПОМНИТЬ

Вообще-то все его звали просто Сэдом. Даже жена. Даже близкие друзья. Так было модно, да и короче. Но на самом деле он был Андреем Наседкиным — нашим однокурсником, хулиганом и хохмачом.

Помнится, Наседкин стал Сэдом уже в первую студенческую осень, когда университетское начальство послало нас помогать подшефным хозяйствам убирать урожай. Два с лишним месяца мы месили сапогами вслед за трактором бесплодную, фригидную землю, грузили уже мороженую, годную разве что на корм скоту картошку, а вечерами — грязные и обессиленные — возвращались в фанерные бараки ближнего пионерлагеря. И вдруг, когда, казалось бы, никакая сила в этом простуженном, морозящем дождями мире не способна уже воскресить в тебе радость жизни, слышалась хриплая песенка Сэда. Песенка про Монтану.

Когда мы были на третьем курсе, началась та война. А вскоре Сэд появился на факультете в форме десантника. Мы стояли в сортире, и он говорил: «Все, ребята, с меня хватит. Поеду в Афган. Может быть, там кайф...»

Тогда мы еще не знали толком, что такое Афган. Его не убили. И, кажется, даже не ранили. Он вернулся оттуда живым и невредимым. Но совсем другим. Теперь он не пел веселую песенку про Монтану. Только пил. И кололся по-черному.

Два года назад его нашли в ванной с перерезанными венами. Никто не знал, почему он сделал это с собой. Говорили, перебрал дозу.

Я тоже так думал вначале. До тех пор, пока не прочитал рассказы Сэда, записанные с его слов Татьяной Ивницкой.

И тогда многое стало понятно. Ясно стало, почему он оттуда явился другим и уже не мог жить по-прежнему, так, словно и не было ничего: ни Афгана, ни крови, ни смертей.

Можно подумать, что Сэду не повезло. Ведь война доконала его не в пыльном афганском окопе, не в «зеленке» во время атаки на душманский кишлак, а в ванной комнате под музыку «Дип Перпл» и запах одеколона. Да, не скажешь про него: погиб геройски. Потому и не стану рассуждать о героизме. Но кажется мне, что смерть его честная. Хотя чего уж об этом теперь говорить...

Дмитрий Лиханов

Посвящается памяти Андрея Н.

СОН

— Ты чего орешь?

Мишка толкнул меня в бок. В палатке было душно, даже не душно, а липко, как в парилке. Я лежал весь мокрый и

никак не мог понять: проснулся я или нет?

— Чего орешь, говорю? — опять спросил Мишка и сжал мою руку.

Наши раскладушки стояли вплотную одна к другой. Он тряхнул меня за руку довольно сильно. И тогда я вроде проснулся.

— Сон приснился дурацкий, — ответил я шепотом. Мишка знал про этот сон, он вообще многое про меня знал. Это иногда хорошо — можно ничего не объяснять. Руки у меня затекли, и ноги, и все тело. Но особенно руки: кулаки были сжаты так, что пальцы онемели.

— Да ладно! — сказал Мишка мне в самое ухо. — Мне тоже мой «первый» снится. — Он вздохнул. Мы помолчали: Мишка угадал. Мне снился мой «первый».

— Мишка, давай курнем, а? Ну, пару раз пыхнем? — нерешительно предложил я. Меня потихоньку начинало знобить. В такую-то жару! Умора. Мишка молча кивнул. Вот всегда так: знаю, что нельзя, а подбиваю Мишку к разной нездоровой ерунде, провоцирую. Я, конечно, пытаюсь «бороться со злом в себе» и все такое прочее — «не рисковать здоровьем», как говорит наш прапор. Но сон этот чертов меня когда-нибудь доконает. Я себя за него ненавижу, но вот снится же!

Я пару-тройку раз затынулся и «сломаз косяк». Потом вроде начал высыхать и согреваться. Успокоился. Здоровье поправило. Ха! Противно, хоть застрелись. Нервный какой выискался, чувствительный. «Журналист». Умора. Меня сразу так прозвали, командир отделения окрестил, и прилипла побрякуха. Я закрыл глаза и постарался расслабиться. Засыпать было страшно: случалось, что сон этот повторялся по два-три раза за ночь. Наверное, к этому никогда не привыкнешь.

Нас только что перебросили. Уже обученных, но еще не обстрелянных. Мы стояли в тени какого-то непонятно для чего предназначенного здания без крыши. Стояли «вольно», то есть в самых непринужденных позах. Сержант Ляшко сидел на пустом ящике из-под японского пива и грыз ногти. Вроде был ослепительно яр-

кий день, и все мы чего-то ждали. Но во сне день всегда был пасмурным ранним утром. И во сне я хорошо знал, что будет дальше.

Дальше привели их. Руки у них были связаны за спиной, и видок был, вообще говоря, довольно жалкий. Поверить в то, что эти мальчишки — враги, казалось невозможным, противоестественным. Помоему, все, кроме двух стариков, были наши ровесники. Откуда-то появился наш комвзвода и объяснил, что такое противник и как с ним следует поступать. И еще что-то говорил про контрреволюцию. И про тылы нашей державы, которые должны быть обеспечены.

А они так и стояли кучками, со связанными руками, жалкие, как воробьи. Особенно на одного я сразу глаз положил, да и он все смотрел на меня и как-то заискивающе улыбался. А может, это мне казалось, не знаю.

Но я точно чувствовал с ним какую-то связь. Мне даже хотелось заговорить с ним, черт те что! Совершенно немыслимо было убедить себя, что это — «противник, который должен быть уничтожен». А потом это началось: «пристрелка», вроде экзамена. Их ставили по одному к стене этого идиотского здания без крыши, спиной к нам. Сержант, грызя ногти, выкрикивал фамилию. Названный выходил и стрелял в того, кто стоял у стенки. Это был, к сожалению, не кошмарный сон, это была явь и, хуже того, приказ. Не знаю уж, что выражала моя физиономия, но когда дошла очередь до меня, сержант перестал на минуту грызть ногти, улыбнулся ехидно как-то и крикнул: «Ну, давай, Журналист!» Я весь пошатнулся, вернее, внутри у меня что-то «отстегнулось». Я понял, что сейчас должен буду убить безоружного парня со связанными руками, и почему-то — того самого парня, который с такой странной улыбкой смотрел мне в глаза. Убить. Неизвестно зачем и за что. Мне кажется, и он этого не понимал. Он так и не понял до самого конца.

Я вскинул автомат, я точно знал, что этого не может быть и не будет до конца. Никогда. Я должен, обязан был проснуться немедленно у себя дома, в своей постели, со своей женой или без жены — черт с ней! Но должен!

Я посмотрел своими серыми глазами в его бархатные, черные, маслянистые глаза. Он не понимал. Все это продолжалось один миг, может быть, долю секунды, но снилось потом целыми ночами. Наконец до него дошло что-то, до этого парня, может быть, он понял слово «журналист», не знаю, я увидел даже улыбку на его коричневом лице — верно, он подумал, что вышла ошибка, недоразумение, чушь собачья, одним словом, и что сейчас все объяснится и он сможет со мной познакомиться и даже пригласить к себе в гости, домой, и все будет хорошо...

Он точно поверил в это, потому что сделал ко мне шаг — он явно хотел сказать что-то. Я опустил ствол автомата и вздохнул почти облегченно.

В страшный сон меня вновь вернул оклик Ляшко:

— Эй! Заснул, что ли?

Я опять вскинул автомат. Я перестал уже что-либо понимать.

— Товарищ гвардии сержант Ляшко! Разрешите ему развязать руки! — чужим пересохшим языком, совсем не по-военному, попросил я.

— Сказился, Журналист?! Выполняя приказ! Штыком! А ну!

«Не надо, пожалуйста, не надо! Ляшко, сержант, миленький, не надо!» — хотелось орать, кричать, ползать на коленях и целовать пыльные, со шнуровкой, полусапожки Ляшко американского образца. Но мой голос почему-то тихо сказал: «Есть выполнять приказ! Есть — штыком!» Может быть, это кому-то надо, может быть, я не знаю. Но мне опять снится его улыбка, его глаза, его голос со странным акцентом. Он так и не повернулся ко мне спиной.

— I am a student! I am twenty-one, you see? I am a journalist. Why so? Why? What for? I am a student, I've got a mother!*

Конечно, нас учили. Нас долго учили убивать всеми возможными и невозможными способами. Но я убил его только с шестого удара. Штык все время попадал под ребра, в грудину, в ключицу. Ему было очень больно, может быть, даже наверняка больше, чем мне.

Он остался лежать с удивленно распахнутыми глазами и приоткрытым ртом, из которого узкой черной змейкой лилась кровь.

— Плохо, очень плохо! — заметил Ляшко. — А еще отличник! Ну, ладно, сопли-то утри... — И выкрикнул: — Красильников! Штыком! — Потом хитро подмигнул мне: — Учись, студент!

Никаких соплей у меня не было. И никакой рвоты — тоже, я просто взял и убил человека. Может быть, убил очень хорошего человека, даже двух — и себя заодно.

Вот только сон дурацкий, черт бы его подрал, остался. И во сне я почему-то всегда ору (Мишка говорит): «I am twenty-one! I am a student! You believe?!»**

Хотя мне через шесть дней исполнится, если не убьют, двадцать два.

«ДОРОГОЙ МОЙ СЫН»

Я получил письмо и долго не мог понять: от кого? Подумал было, что вышла ошибка, но на конверте была написана моя фамилия, и в самом письме меня называли моим именем. Лишь дочитав до середины, я понял наконец, кто его написал. Наверное, я малость свихнулся, когда понял, потому что мне написала Миш-

* Я студент. Мне двадцать один год, ты веришь? Я журналист. Почему так? Почему? За что? Я студент, у меня есть мать! (англ.)

** Мне двадцать один! Я студент! Ты веришь?! (англ.)

кина мать. Я не дочитал его даже, а пошел за палатку, туда, где была свалка из обгорелых кружек, банок из-под сгущенки и других консервов. Я сидел, смотря на нашу огромную палатку и на другие такие же огромные палатки. Они были точно такого же цвета, как и пески этой чертовой пустыни Регистан. Странное совпадение. Хотя, какого дьявола, совпадений не бывает!

Видимо, я вспомнил Самарканд, где мы загуливали с отцом лет десять назад. Я был тогда сопливым пацаном и ходил под стол пешком. Ну, это я, конечно, преувеличиваю, что под стол, но «регистан» там был, точно помню. И медресе Улукбека было, и чайханы, и гнезда аистов на старых мечетях. Господи, какого черта я это вспоминаю! Про всякие там перекасти-поле и барханы, и «белое солнце пустыни», и про жару под 60 Цельсия мне думать надоело. Мне вообще думать надоело. Поэтому я курю чарс и вот сейчас (сейчас, сейчас, минуточку!) выну из нагрудного кармана небольшой шмат опиума и сожру. Горечь — не то слово, запить бы его. Интересно — вода еще осталась? Достāju фляжку, определяю по звуку: что-то плещется — пара глотков или меньше. А здорово «цепляет»: глаза становятся горячими, а руки и ноги холодеют. Я ложусь на бок — в тень этой самой оранжевой палатки. На зубах скрипит песок. Смотрю на свои руки: руки — шоколадного цвета, а волосы выгорели и стали не золотистыми даже, как раньше, а совершенно белыми, наверное — поседели. Разве седеют волосы на руках и на ногах? Надо спросить у взводного — он все знает. Чепуха какая в голову лезет!

Я начинаю смеяться, я не знаю, почему я смеюсь. Мне не хочется смеяться. Я просто всеми фибрами боюсь взводного. Он — отличный мужик... Почему же мне так смешно?

Я достаю из кармана сложенный вчетверо листок бумаги и опять начинаю читать. Почему написано зелеными чернилами? Были же синие... Впрочем, просто

на глазах они становятся красными. Вот что я читаю: «Дорогой мой сын!»... Нет, опять — комок в горле! Опять — слезы. И супняк. Зверский супняк. Неужели опиум не «цепляет»? Я плачу, мне больно, я закрываю глаза и вижу красно-зеленое марево. Это — солнце. Это — цвет моих век: там, по маленьким капиллярам течет кровь. Праздник Рамадан... Я — наркоман... Я — боец, точнее — профессиональный убийца. «Шурави-гитлеря», так нас зовет мирное население или душманы. Их разве поймешь? Все они — на одно лицо.

Под закрытыми веками начинают мелькать картинки... «Дорогой мой сын»... Я вижу дорогу. По дороге движутся со страшным рычанием БМП. Я — наводчик-оператор, стрелок. Мы все — в красной пыли, это — глина. Мягкая, как пудра или мука. Мы перегоняем БМП из Кандагара. В первой едет Мишка. Я — во второй. В третьей — какой-то корреспондент какой-то газеты из Москвы. И там же — комвзвода Дзюба. И Летуновский с ними: он выставил свою доблестную полосатую грудь, автомат — наперевес, лихо заломленный берет — шлемов он не признает. Ему скоро домой, почти «дембель». В первой БМП — Мишка, земляк, он — из Электростали. Я все про него знаю, и про его Ленку, и что скоро он станет отцом.

Я открываю глаза и хочу остановить это кино. Я его уже видел. Я не хочу больше. Я смотрю это кино уже больше полугода, хватит! Взгляд падает на ослепительно белый листок письма. Его написала мне Мишкина мать. Господи, она ведь ничего не знает! И не узнает...

Сзади кто-то скрипит песком: «макаронник» Клочков, прапор позорный. «Веревкин, опять здоровьем рискуешь?» — говорит Клочков. Это он мне. Мне очень хочется его «гасануть», но лень, и притом очень жарко. Я отвечаю довольно спокойно: «Так точно, гвардии «макаронник», рискую!» И выпускаю дым куда-то вверх, этак непринужденно, вроде и не ему в рожу, а так — в небо. В небо пустыни

Регистан. Он что-то орет, я приоткрываю один глаз и смотрю на эту харю ламбровского убийцы. Мне опять делается ужасно смешно, ну просто нет сил, и встать нет никаких сил от смеха. Я опять затаиваюсь: глубоко, с воздухом, и вижу перед собой белый треугольник письма, точнее — прямоугольник. Это невыносимо... Я закрываю глаза и слышу рев двигателей. Мишка со своими ребятами идет первый. Толибердиев, я и Остратюк — вторыми; Самойлов, Летуновский, корреспондент и Дзюба идут третьими.

У меня опять холодеют руки и к горлу подкатывает. Сердце, кажется, на мгновение перестает биться. Я вижу все, как в немом фильме, только не в черно-белом, а в зелено-красном. Я вижу, как взрывается Мишкина БМП. Дистанция — порядочная. Такая, что Толибердиев успевает резко затормозить, нас зверски заносит. Я выскакиваю. Я бегу. Бегу к Мишке, бегу, бегу... Но почему-то — стою на месте. Так часто бывает во сне. Бежит Самойлов, бежит корреспондент, бежит Дзюба, бежит Толибердиев. Вот только Летуновский лежит на обочине: на его геройской груди медленно расплзается красно-бурое пятно. Кто-то говорит слово «осколок». Берет лихо заломлен, соломенного цвета чуб медленно колышется. Я бегу. Кто-то вытаскивает Мишку, он почему-то без ног. Он лежит на дороге, в красной пыли, и рядом с ним лежит еще что-то голубоватое, полупрозрачное, в красной луже. Мишка безумно смотрит по сторонам, я знаю, что он ищет меня.

— Я здесь! Мишка, Мишка, здесь, слышишь?! — ору я ему в ухо.

Я понимаю, что Мишка жив, но что он тоже, наверное, не слышит меня, как и я не слышу ничего. Потом я раздраю свой ИП и делаю Мишке укол. Потом я просто ложусь рядом с Мишкой на дороге, а вокруг стоят какие-то ноги. Ноги в красной пыли. И я вижу, что эта голубоватая, отливающая перламутром куча рядом с Мишкой тоже испачкана в пыли. Она становится разноцветной, в ней что-то дви-

жется, пульсирует и шевелится. Мне делается страшно. Очень страшно. Кажется, Мишка тоже понимает, что это — его кишки.

Он шевелит абсолютно белыми губами, он хочет мне что-то сказать, я прижимаюсь ухом к самому Мишкиному рту: «Володька! — слышу шепот, как будто издалека, из трубы вроде. — Володенька, стреляй! Стреляй, стреляй в висок! Стреляй же, сука!» И тут мгновенно я все понимаю и кричу: немое кино с замедленной съемкой кончилось. Я кричу во все пересохшее горло, сколько хватает легких, просто кричу: «А-а-а!» Выстрела я не слышу. Я падаю на Мишку, грудь на грудь, я выкрикиваю что-то истерично, не выпуская автомата и целясь во всех подряд. Я вижу, как бесформенная куча продолжает шевелиться. И тут я слышу щелчок затвора фотоаппарата.

Кто-то выбивает ногой у меня автомат, наверное, вовремя. Потом — я не помню. Было очень жарко. Говорят, я бил корреспондента, меня оттаскивали, я бил ногами и все пытался раздавить упавший в пыль фотоаппарат. Даже Дзюбе въехал в челюсть пару раз. Истерика — это бывает.

Через день я отправился сопровождать Мишку в Электросталь. Там его ждали мать, Ленка и новорожденный сын, тоже Мишка.

На этом кино кончается. Я врал матери, врал Ленке, я безобразно напился и плакал, и врал все время, боясь остановиться. Ну, конечно, про бой, про чертей-душманов, про расцентрованные пули, про взрывные волны, осколки и ночные прыжки. И про Мишкин какой-то невероятно геройский подвиг. Потому что так было надо. Им надо, это я точно знал.

И вот я получаю письмо. Я не могу на него ответить, хоть и знаю, что это плохо, потому что Мишка был один у матери, а она ведь только просит разрешить ей писать: «Дорогой мой сын». Но я так и не дочитал до конца это письмо. Не смог. Наверное, я малость свихнулся от этой

жары, от этого чарса и опиума. Я бросил письмо в мусорную кучу из консервных банок и стал смотреть, как оно горит. У меня классная американская зажигалка,

я ее тогда еще, давно, на пересылке в Термезе, выменял у Мишки на значок «100 прыжков».

(Бюлл. «Совершенно секретно», № 4, 1989 г.)

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Отец мой, гвардии лейтенант Великой Отечественной Василий Николаевич Синявский, часто, бывало, повторял, когда затрагивалась определенная тема:

— Если невоевавший хочет понять, что такое война, то пусть представит себе — это в тысячи раз страшнее, нелепее, безысходнее самого жуткого рассказа любого из воевавших.

И я помнил эти слова, особо вспоминал их, когда читал нечто из фронтовой прозы, когда слушал фронтовиков. И сквозь призму этих слов пытался представить себе, через какой ужас прошло поколение моего отца. Но то все же была война, которая обрушилась на плечи моей страны извне, а вот война иная... Ее бухнули на судьбы наших детей (недавно понял, что при известном стечении обстоятельств вполне мог я сейчас иметь сына, прошедшего «афган») руководители моего государства, безответственные, а может, и преступные политики.

И больно мне читать строки, записанные Татьяной Ивницкой со слов «афганца» Андрея Наседкина — особенно, когда помножу содержащуюся в них боль на коэффициент, выведенный моим отцом.

«Ведь для меня Афган — позор державы, а для тебя — судьба и символ славы...» — так поет наш бард-современник, обращаясь к другу-«афганцу», и в этой формуле как раз и содержится весь узел проблем, связанный с войной, которую пытались спрятать.

Те, которые так часто сетуют на молодежь, сами, своими руками, научили наших детей убивать, научили врать и спокойно выслушивать вранье и даже бороться за его «чистые одежды». Недавно ребята из Прибалтики, воевавшие в Афганистане, призвали всех, кто шел с оружием в руках по той горькой земле, снять со своих гимнастеров награды, полученные там, и вернуть их правительству. Шаг, знакомый нам по прессе — подобное было уже в США. Мы вообще повторяем опыт Америки. Не успела она вытащить ноги свои из трясины войны во Вьетнаме, как мы тут же плюхнулись в подобную же войну в Афганистане. Но уж коли повторять чей-то опыт, то надо бы брать в нем не только плохое. В Америке есть богатый опыт вывода общества из позорно проигранной войны. По сути был разработан целый комплекс. Вначале выявлен так называемый анамнез — история, характеристика болезни, а затем прописаны и лекарства. При этом лечилось и общество как таковое, и парни, прошедшие Вьетнам.

Общество надо было научить принять в себя едва ли не чуждое пополнение, а «вьетнамцам» следовало помочь с адаптацией. На это дело были подняты профессиональные психологи, журналисты, писатели, кинематографисты. Знаменитый фильм «Рэмбо. Первая кровь», к слову, создан как раз в рамках этой общенациональной программы.

А у нас? У нас — кислый квас. Т. е. ровным счетом ничего. Вначале вообще пытались создать из Афганистана тайну, дойдя в этом до бесстыдства и полной аморальщины. Смерть человека — таинство, но не тайна. Каждый имеет право знать, как, где, при каких обстоятельствах ушел из жизни близкий ему человек (это святое право миллион раз пограно Сталиным. В его годы человека убивали, а родственники позже, значительно позже, получали «квиток», в котором в графе «место смерти» стоял либо прочерк, либо и вообще издевательская формулировка «РСФСР»). Точно так же каждый ушедший имеет право на то, чтобы сообщить о себе живущим — пусть даже краткой надписью на надгробии. И этого права были лишены мальчишки, погибшие в Афганистане — их в первые годы войны хоронили тайком, на могилах их ничто не указывало на обстоятельства смерти.

Чего ж мы хотим при этом? Душа, залитая скверной, оскверняется до глубин своих. Очистить ее можно. Правдой. Ведь это единственное в мире оружие, которое само врачует нанесенные им раны, которое способно помочь регенерации духовной ткани. Сэд погиб, потому что к его душе не успели прикоснуться этим скальпелем.

Б. Синявский

НЕИЗВЕСТНЫЙ КОРОЛЕНКО

Современники свидетельствуют: после смерти в 1910 году Толстого во главе русской литературы стоял Короленко. Абсолютный, непререкаемый авторитет тех лет. Вот слова Ромена Роллана: «Припоминаю, как здесь, в Швейцарии, среди русских эмигрантов, в кружке Луначарского, говорилось: «Если в России будет республика, Короленко должен стать ее президентом».

Умер он в декабре 1921 года в Полтаве, и с тех пор имя его, писателя большого и чуткого ко всем людским болям сердца, стало у нас в стране как бы стушевываться, уходить в тень беззастенчивых, злых умолчаний. Полное собрание сочинений (более тридцати томов!), начатое в двадцатые годы, было приостановлено и больше не возобновлялось. Из всего написанного Короленко в 1917—1921 гг. нам доступна только «История моего современника». Все остальное — дневники, многие письма, вся публицистика — ушло, как в черную дыру, в пресловутый спецхран (поистине: ГУЛаг для людей, спецхран — для идей...).

Первый серьезный прорыв к этим материалам сделал журнал «Новый мир», опубликовавший шесть писем Короленко к Луначарскому (№ 10, 1988 г.).

Сегодня мы знакомим читателей «Литературного Кузбасса» с дневниками Владимира Галактионовича Короленко, его письмами, другими документами того смутного и грозного времени. Конечно, это лишь малая часть, десяток-другой страниц.* Но вчитаемся хотя бы в эти страницы, и перед нами встанет иной, почти неизвестный нам Короленко. Его неравная борьба то с полтавской «чрезвычайкой», то с белыми карателями (смотря по тому, кто занимал город, а это случалось около десяти раз), с их кровавыми разгулами, против казней без суда и следствия, — это не только акт истинного (а не показного) гуманизма, но и свидетельство немалого личного мужества писателя. Сообщая в письме к Луначарскому (1920 г.) о фактах массовых арестов, произвола «органов», молчаливо поддерживаемых властью, он пишет с горечью: «Не желал бы быть пророком, но сердце у меня сжимается предчувствием, что мы только еще у порога таких бедствий, перед которыми померкнет все то, что мы испытываем теперь».

Предчувствие его, увы, не обмануло...

Помните сцену приезда великого пролетарского писателя на Соловки в 1929 году из книги Солженицына «Архипелаг ГУЛаг»? И его постыдное молчаливое бегство от всего увиденного там? Невольно подумалось: Короленко наверное бы не сбежал. И уж точно бы — не промолчал...

В. Мазаев

* Взяты нами из кн. «Короленко в годы революции» Сост. П. И. Негретов, под ред. А. В. Храбровицкого, Бенсон Вермонт (США), 1985 г.

ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА

16 марта 1919 года

Запись в дневнике: «Много дел//в чрезвычайке//. И плодят еще больше. Свойство всякой «охранки» — неизбежно плодить безответственно глупые дела. Революционная охранка ничем не отличается от жандармской. Прежде была в ходу «неблагонадежность». Теперь «контрреволюционность»!

29 марта

Запись в дневнике: «Вчера приезжала жена Вас. Алексеевича Муромцева, главноуправляющего кочубеевских имений. Он с утра ушел и домой не возвращался /.../ В семье отчаяние. «Папу выбросили на свалку», — говорит сынишка. На свалке порой находят раздетые трупы. Дети знают об этом /.../

Я с тревогой отправляюсь в чрезвычайку. У меня есть постоянный пропуск /.../ Муромцев оказывается у них /.../ Барсуков (председатель) говорит, что он не знает еще, в чем дело, но арест произведен по заявлению одного «товарища, занимающего видный пост среди советской власти». /.../ Я говорю еще об арестованном крестьянине Сюмеке /.../, который арестован за то, что был волостным головой во времена гетмана. Это старик лет 70-ти. Он уклонялся, но его заставили принять должность, которую он отправлял недели три, а потом отказался. /.../ Большинство совета и крестьяне стоят за его освобождение. /.../

// Разговор с товарищем председателя всех чрезвычайок на Украине.//

Когда я говорю /.../, что Ч.К. могу сравнить только с прежними жандармскими управлениями, если бы им было предоставлено право казни, то он возражает:

— Товарищ Короленко. Но ведь это на благо народа!..—И пыливо смотрит на меня».

После 6 апреля

Запись в копировальной книге Короленко:

«6 апреля настоящего года в Полтаве расстреляно 8 человек по простому постановлению Чрезвычайной комиссии. Об этом даже не было известно ни Совету, ни Исполнительному комитету. Даже Чрезвычайная комиссия была не в полном составе (Председатель отсутствовал). Это показывает, с какой легкостью у нас теперь относятся к вопросу о человеческой жизни. /.../

Должен прибавить, что обстановка этих казней была ужасна. /.../ Между другими политическими казнили политического Девченка. // Он был болен// Его привезли на кладбище, положили на доску, перекинутую над готовой могилой, и пристрелили лежащего, после чего сбросили в яму. Других /.../ сажали на такую же доску. Это вызвало своеобразную просьбу заключенных: они просят, чтобы их хоть казнили по-старому: позволяли бы исповедаться, попроситься с близкими или хоть написать предсмертные письма. В своих очерках, направленных против смертной казни, напечатанных при царском режиме, я приводил много прощальных писем смертников. Им в этом не отказывали. /.../

«Контрреволюция» стала на место неблагонадежности. Она не только поступок, не только образ действий, а и образ мыслей. /.../

Страшное зло данной минуты — неопределенность права и обязанностей. Никто не знает, кто его может арестовать и за что. /.../

// Помещения Чрезвычайных комиссий и тюрем ужасны по своей антигигиеничности, в тюрьмах — сыпной тиф. //

Сколько у дверей Чрезвычайных комиссий толпится ежедневно заплаканных /.../ матерей, отцов, детей. /.../ Сколько их, по старой памяти, приходит и ко мне, надрывая сердце слезами, жалобами и горем...»

* Купюры всюду обозначены отточием, заключенным в прямые скобки. Содержание рядов пропусков — в двойных скобках.

9 апреля

Пишет И. П. Белокопскому: «Верю, что Россия не погибнет, а расцветет, хоть мы последнего и не увидим. Пережить предстоит, конечно, еще очень много. Кризис будет тяжелый и бурный, но Россия — страна не только большая, но и с великолепными возможностями. У нее мало культуры, в том числе особенно нравственной. Но это дело наживное, а натура у русского человека хорошая, хотя пока он еще слишком склонен к порокам и — увя! — особенно к воровству».

10 апреля

Запись в дневнике: «Третьего дня опять вырезали семью: еврея, его жену и дочь. При этом принесли с собой водку и, зарезав еврея, кутили и насиловали жену и дочь, которых резали после изнасилования. Это продолжалось до 6-ти часов утра. Уже заветло ушли спокойнейшим образом и не разысканы. /.../ Пока чрезвычайка озабочена старьем, бывшими генералами, как Бурого, и расстреливанием Шкурупиных землеробов, — обезоруженный обыватель отдан на жертву разбойникам. Но против смертной казни таких зверей — даже я не возражаю, раз они пойманы, что бывает редко.»

13 апреля

Запись в дневнике: «С утра пришли 4 женщины из Васильцовской волости. Матери, жены арестованных чрезвычайкой «хлебобобов». /.../ Прошли бедняги 40 верст пешком. Устали. /.../ Начинаются полевые работы. Семьям грозит нищета... И едва ли мы можем помочь. Арестованы просто каким-то красноармейским дивизионом. /.../ Было это больше двух месяцев назад. /.../

Арестован учитель Проценко. Был в театре на митинге. Выслушав какого-то очередного оратора-коммуниста, непочтительно отозвался о его речи: «Чепуха!». Теперь, вероятно, лучше оценит ораторские силы коммуниста, посидев в тюрьме. Впрочем, скоро выпустили».

28 апреля

Короленко обращается в Совет защиты детей, куда входил как представитель Лиги

спасения детей, с заявлением, в котором скорбит о нарушенном контакте в работе Лиги и Совета защиты детей. /.../ В. Г. пишет: «То, что будет сделано для детей, — должно быть сделано на широком основании терпимости, братства, отсутствия национальной исключительности. Нужно стремиться к тому, чтобы путем дружной работы установить известную близость и общность колоний местных и российских, христианских, еврейских и мусульманских, и нужно, чтобы население видело эту общность и само проникалось духом солидарности и братства».

4 мая

Пишет Х. Г. Раковскому: «Я не могу представить себе такого положения, где я мог бы оставаться зрителем таких происшествий и не сделать попытки вмешаться. Теперь писать для печати мне негде. Приходится поневоле говорить о частных случаях, превратиться в ходатая. Но отказаться от вмешательства в окружающую жизнь, хотя бы в ее частностях, не могу, где бы я ни находился...».

Не позже 5 мая

Всеукраинский ЦИК принимает постановление об охране спокойствия В. Г. Короленко.

«Полтава, 5 мая. Короленко заболел нервным потрясением. Консилиум врачей признал положение писателя очень серьезным. Президиум ЦИКа отправил губисполкому в Полтаву телеграмму с предложением принять меры ограждения для полного спокойствия В. Г. Короленко и его семьи».

13 мая

Письмо к С. П. Мельгунову в Москву: «Я не принадлежу к числу тех, которые бойкотируют большевистское правительство во что бы то ни стало. Факт состоит в том, что один режим сменяется другим и нельзя при этих переменах останавливать некоторых сторон жизни. // Речь идет о соглашении с советским издательством //

Бродит вокруг Полтавы Григорьев с заманчивыми для бедноты обещаниями. Тут и земля, и еврейские погромы, и антикомму-

низм... Кажется, однако, что успеха иметь не будет. Кажется, большевизму предстоит самому разведаться в противоречиях между заманчивыми для масс обещаниями и их невыполнимостью. Всюду, где еще нет большевиков, массы народа их ждут (лозунги!), но стоит им водвориться, и начинается реакция, потому что невыполнимость лозунгов становится очевидной».

24 мая

Запись в дневнике: «Сегодня в «Известиях» помещен очень бледный отчет о заседании «окружного революционного трибунала» по делу о «сотрудниках Полтавской чрезвычайной комиссии». /.../ Отчет составлен бледно и сухо. Но Прасковья Семеновна, бывшая на суде, говорит, что было много ярких эпизодов. // О взятках //

Все дело позорное для чрезвычайки, но впечатление какое-то не ясное и путанное. Чувствуется гнусность, но какая-то вуалированная».

4 июня

Письмо В. И. Ленина — М. И. Лацису.

«На Украине Чека принесли тьму зла. /.../ Надо подтянуть во что бы то ни стало чекистов и выгнать примазавшихся».

В. И. Ленин. ПСС, т. 50, с. 338

23 июня

Запись в дневнике о разговоре с председателем ЧК Долгополовым о провокации в деле Храневич: «Товарищ Короленко... Нет, простите. Я понимаю, что я вам не товарищ. Отец Короленко! Я не могу отрицать, что тут в деле Храневич действительно работали (!) наши агенты. Но скажите: кто же тянул за язык, например, этого Акимова. А он признался и даже показывал место, где он это сделал...

— А вы произвели дознание, был ли в этом месте найден труп и при каких обстоятельствах? Отец Акимова утверждает, что его сын не умеет даже обращаться с револьвером. Мальчик, да еще подпоенный, мог хвастать...

Но эти простые соображения не приходят

в голову Долгополову. Признался — и конечно! Самые простейшие понятия о следствии и правосудии отсутствуют у этих людей, поставленных игрою жестоких российских судеб к делу следствия и правосудия. Товарищ Роза, девушка из швеек, тоже производившая одно время следственные действия, на упрек Прасковьи Семеновны, что она запугивает допрашиваемых расстрелом, отвечает в простоте сердечной: «А если они не признаются?..»

Как-то на днях я стоял, ожидая кого-то, на площадке лестницы в чрезвычайке. Тут же встретились два молодых человека: оба еще очень юные, оба сухощавые, у одного лицо особенно сухое и неприятное.

— А знаешь, — сказал один из них другому. — Мне так и не удалось докачать своего... того, о ком я говорил.

— Ну-у?.. А мой, брат, уже докачался.

Сильно подозреваю, что речь шла о пытках при допросе. Это так просто: не сознаются, — надо «докачать». Революция чрезвычайек сразу подвинула нас на столетия назад в отношении отправления правосудия. О том, что провокация гнусность, приходится толковать порой безуспешно. // Рассказ об отряде большевиков, которые назвались григорьевцами. // Запуганная масса, конечно, дала многих, которые боятся всякой вооруженной власти и готовы прикинуться ее приверженцами. Потом оказалось, что это большевики, и улов контрреволюционеров оказался богатейший».

24 июня

Запись в дневнике: «В чрезвычайке творятся необыкновенные мерзости. Провокационное дело Храневич дает простор для них в особенности. /.../ Происходят запугивания и гнусные предложения // молодым девушкам // . Действует особенно какой-то пожилой человек /.../, называющий себя должностным лицом особого отдела. Он сменяет свои гнусные подступы запугиванием расстрелом».

Передал в полтавские «Известия» для напечатания «Письмо в редакцию» — по поводу

появившейся в газете статьи Г. Пятакова «Да здравствует красный террор».

Пятаков писал, что Великая французская революция победила именно благодаря террору. В письме Короленко цитировал французского историка Эдгара Кине: «Террористы сами были поглощены эшафотом, который они соорудили. Республика не только погибла, но и стала ненавистна, контрреволюция стала победоносна... Сколько раз еще будут повторять бессмыслицу, что гильотина была нужна для спасения революции, которая как раз и не была спасена». /.../

«Нет, не восхвалять надо террор, а предупреждать против него, откуда бы он ни исходил. Если бы он мог принести пользу большевистской революции, то так же полезен был бы и ее противникам. Тогда незачем было бы возмущаться известиями «о зверствах, совершаемых добровольцами». Они, значит, только пользуются целесообразным орудием борьбы. /.../

И благо той стороне, которая первая сумеет отрешиться от кровавого тумана и первая вспомнит, что мужество в открытом бою может идти рядом с человечностью и великодушием к побежденному».

Письмо напечатано не было (см. 28 июня).

28 июня

В редакцию полтавских «Известий»:

«Редакция неоправданно злоупотребила моим доверием к ее литературной порядочности. Я отдал ей «письмо в редакцию». /.../

Сегодня я вижу в «Известиях» выдержки из моей статьи, послужившие лишь материалом для победоносных возражений т. Жарновецкого. /.../ Должен только подчеркнуть, что читатели (...) с моей статьей совсем не знакомы, а я, конечно, писал ее для читателей, а не для тов. Жарновецкого /.../».

Частичная эвакуация советских учреждений в связи с приближением денкинцев.

29 июня

Налет бандитов на квартиру Короленко. Из письма к племяннику, В. Ю. Короленко,

от 12/25 июля 1919: «...Твой престарелый дядя выдержал налет бандитов и даже — прямую физическую борьбу. Было это 29 июня в 11 часов по новому времени (то есть почти засветло). Во время суетни с эвакуацией Совет защиты детей обратился к Лиге с предложением — взять на себя заботу о детских колониях, для чего нам оставили два миллиона. Все это делалось наспех, и два миллиона, полученные от казначейства ночью, были мне доставлены утром. Все это не осталось в секрете, и к вечеру явились двое с револьверами. Один остался со мной в коридоре, другой вышел в переднюю и сделал «для страха» выстрел. Увидев, в чем дело, я кинулся в переднюю и быстро схватил бандита за руку с револьвером. Дуня и Наташа кинулись мне на помощь. Во время борьбы последовал другой выстрел. По-видимому, он назначал его мне, но мне с помощниками удалось отвернуть руку — и пуля попала в дверь. Другой в это время мог бы перестрелять нас, но, по-видимому, он сообразил, что это бессмысленно: выстрелы могли уже привлечь внимание, и денег унести все равно бы не удалось, тем более, что Соня, выскочив в окно, унесла чемоданчик к соседям. Посему разбойники (по-видимому, совершенно неопытные) поторопились убежать... Конечно, следующие дни мне пришлось расплачиваться за эту «победу» обострением сердечной болезни...».

10 июля

Запись в дневнике // Разговор с предс. Ч. К. Долгополовым //: «Кажется, на сей раз наткнулся на вполне искреннего человека. Говорили и ранее, что он человек мягкий по натуре и по временам хватается за голову от того, что делается кругом. /.../

— Теперь приходится делать много жестокостей. Но когда мы победим... Отец Короленко! Вы ведь читали что-нибудь о коммунизме?

— Вы еще не родились, когда я читал и знал о коммунизме.

— Ну, я простой человек. Признаться, я ничего не читал о коммунизме. Но знаю, что дело идет о том, чтобы не было денег. В

России уже денег и нет. Всякий трудящийся получает карточку: работал столько-то часов... Ему нужно платье. Идет в магазин, дает свою карточку. Ему дают платье, которое стоит столько-то часов работы...

— Приходит в магазин, а ему говорят, что платья нет и в помине...

— Нет, так нет для всех... А есть, так его получает трудящийся. Все равно, над чем бы он ни работал. Умственный труд тоже будет вознагражден... все равно. Ах, знаете, отец Короленко! Когда я рассказывал о коммунизме в одном собрании... А там был священник... То он встал и крикнул: если вам это удастся сделать, то я брошу священство и пойду к вам...

На лице Долгополова лежит отпечаток какого-то умиления. Я вспоминаю, что чрезвычайка уже при нем расстреливала и покушалась расстреливать без всякого суда. Вспоминаю и о том, что он хватается за голову... Хватается за голову, а все-таки подписывает приговоры. Кажется, я действительно на этот раз видел человека, искренно верующего, что в России уже положено начало райской жизни. Он и не подозревает, что идея прудоновского банка с трудовыми эквивалентами жестоко высмеяна самим Марксом...

27 июля

Запись в дневнике: «В городе все в движении. Целые обозы двигаются на вокзал. Увозят все, что можно. Из дома Сняльского, реквизированного под какой-то отряд, везут всю мебель. Конечно, не для того, чтобы эвакуировать: все это распродается на вокзале. Идет просто грабеж».

28 июля

Эвакуация советских учреждений и войск. Поездка Короленко на вокзал по поводу участи увозимых заложников. В ночь с 28 на 29 июля в Полтаву вступили части Добровольческой армии.

29 июля

Запись в дневнике: «Я проснулся рано и открыл окно... Тихо. Мимо едет повозка. В ней люди в шапках вроде папах. Везут ка-

кие-то вещи. Открываю дверь и выхожу на улицу. Подходит высокий еврей и еврейка. Их уже ограбили. В повозке, оказывается, тоже везли награбленное. Грабеж, по-видимому, без убийств, идет в разных местах, по всему городу. /.../

Ночью, около нас, на Каменной, убили старушку Стишинскую. Когда ворвались в квартиру, она открыла окно и стала звать на помощь. Один из грабителей выстрелом уложил ее. Стишинская не еврейка. Отзываются о ней, как о прекрасном человеке; она, вероятно, тоже ждала деникинцев как избавителей... Впрочем, вероятно, что среди этих грабителей значительная часть приходится на уголовных: на тех 150 красноармейцев, которых выпустили большевики. И еще вчера, уже деникинцы, разгромили арестантские роты. Разбежалось много уголовных...»

31 июля

Запись в дневнике: «Эти дни прошли в сплошном грабеже. Казаки всюду действовали так, как будто город отдан им на разграбление «на три дня». Во многих местах они так и говорили. /.../

Начались подлые бессудные расстрелы. /.../ Награбленные вещи продаются тут же, на улицах, и подлые элементы населения принимают в этом участие. Мальчишки указывают грабителям жилища евреев и сами тащат, что попало. В покупке награбленного участвуют «порядочно одетые люди».

Конец июля — начало августа

«15-го июля (ст. стиля) 1919 г. Полтава занята Добровольческой Армией /.../ Вдруг полтавцы узнают об аресте бывших офицеров, состоявших на службе в Красной Армии /.../ Тюрьма наполнилась офицерами, начала действовать контрразведка, организовался военно-полевой суд. /.../ Приговор подтвержден... Даются последние распоряжения. Расстреливать будет офицерский взвод... /.../ Короленко не удалось спасти первых жертв, но он первый поднял голос, когда все молчали. Наутро уже весь город знал о приговоре, заволаговало население, появились статьи в газетах. Полетели телеграммы к Де-

никину. Словом, всё поднялось, заговорило, и в результате — полевые суды, расстрел стали заменять разжалованием в рядовые с отправкою на фронт».

А. Фомин. Последние годы в Полтаве.—
Петербургский сборник.

3 августа

Письмо Короленко помещику А. П. Старицкому: «Лига спасения детей обращается к Вам с просьбой оставить находящийся в Вашем имении в Войновке детский приют временно, впредь до выяснения вопроса о переходе его к уездному земству, в занимаемом им помещении. Не сомневаемся в том, что Вы не захотите ухудшить и без того тяжелое положение невинно страдающих детей и не откажете в нашей просьбе».

3 августа

Под статьей Л. Д. Троцкого «Кто предал Полтаву?» значит: «Миргород, 3 августа 1919 г.» («Петроградская правда», 13 августа 1919 г. № 18). Племянник К. И. Ляховича— Николай Григорьевич Ляхович, живший в доме Короленко в годы гражданской войны, вспоминал в беседе с А. В. Храбровицким в 1953, что однажды ему пришлось передать адъютанту Троцкого, приезжавшему в Полтаву, отказ Короленко принять Троцкого.

3 августа (ст. стиля)

Выходящая в Ростове-на-Дону «Народная газета» в № 103 опубликовала корреспонденцию В. Г. Короленко о большевиках.

«Полтава, 2 августа. Владимир Галактионович Короленко в беседе с корреспондентом «Пресс-Бюро» на месте откопов жертв полтавской чрезвычайки на вопрос о том, как пережил он большевизм, сказал: «Много ли скажешь по этому поводу? Лучше всяких слов говорят об этом увиденные только что нами картины».

Когда я хлопотал в чрезвычайной комиссии за судьбу заключенных, а делал это я беспрестанно, мне там говорили, что расстреливают исключительно бандитов.

— Но ведь и бандитов,— возражал я им,— нельзя расстреливать так, без суда.

Возмущает меня и ужасает и самый способ этих расстрелов: ночью, тайком, с издевательствами, как собак.

Пропало всякое уважение к жизни человеческой. Надо уважать жизнь человеческую.

Вы знаете, однажды группу так называемых «буржуев» увели большевики на окопные работы и привели их обратно в таком виде, что даже один из комиссаров не выдержал и воскликнул: «Смерть негодяям, совершившим это дело».

Об эксгумации жертв ЧК Короленко писал в 1920 году А. В. Луначарскому: «...Когда пришли деникинцы, они вытащили из общей ямы 16 разлагающихся трупов и положили их напоказ. Впечатление было ужасное, но — к тому времени они сами расстреляли уже без суда несколько человек, и я спрашивал у их приверженцев: думают ли они, что трупы расстрелянных ими, извлеченные из ям, имели бы более привлекательный вид?».

11 января 1920 года

Возвращение из Шишак в Полтаву. По приезде в Полтаву, в течение всего года — непрерывные хлопоты об арестованных и осужденных; письма и телеграммы Х. Г. Раковскому, Г. И. Петровскому и другим.

21 января

Запись в дневнике: «29 декабря (старого стиля) прошлого года мы вернулись из Шишак. /.../ Во время нашего отсутствия в Полтаве происходили тревожные события: деникинцы бежали в панике: совершенно так же, как ранее большевики. Невдалеке от нас продвигались какие-то банды. Оказывается, на сей раз союзниками большевиков были махновцы. /.../

// Нападение бандитов на санаторий д-ра Яковенко. // Я вполне сочувствую Яковенко. Если бы это было при мне, я непременно бы тоже стрелял. Мне противна телячья покорность, с которой крестьянская среда подчиняется подлым насилиям разбойников, которых все знают наперечет. Развился особый промысел: лопатников. Узнав, что какой-нибудь крестьянин продал свинью или корову

(это теперь 10—20 тысяч), они ночью приходят к хате, разбивают окно и суют лопату: «Клади деньги!». И кладут... Американцы давно устроили бы суд Линча. И это достойнее человека, чем эта телячья покорность, которая только плодит разбоя и безнаказанные убийства. /.../

Смотришь кругом — и не видишь, откуда придет спасение несчастной страны. Добровольцы вели себя гораздо хуже большевиков и отметили свое господство, а особенно отступление, сплошной резней еврейского населения (особенно в Фастове, да и во многих местах), которое должно было покрыть деникинцев позором в глазах их европейских благожелателей. Самый дикий разгул антисемитизма отметил все господство этой не армии, а действительно авантюры. /.../

Вскоре после вступления большевиков порядок в Полтаве установился. Большевики уже второй раз отличились «вступают», и только после, когда начинают действовать их чрезвычайки, — их власть начинает возбуждать негодование и часто омерзение. Впрочем, в Полтаве и это было много умереннее, чем в Харькове и Киеве. Деникинцы вступили с погромом и все время вели себя так, что ни в ком не оставили по себе доброй памяти. Впечатление такое, что добровольчество не только разбито физически, но и убито нравственно. От людей, вначале встречавших их с надеждой и симпатиями, приходилось слышать одно осуждение и разочарование. Говорят, Деникин далеко не реакционер, и есть среди добровольческих властей порядочные люди. Но весь вопрос в том, кто берет перевес настолько, чтобы окрасить собою факты. Среди добровольцев такой перевес явно принадлежит реакции. Деникин пишет приказы о том, чтобы аресты не становились орудием помещичьей мести и их счетов с населением, а офицерство в большинстве сочувствует помещичьим вождениям. Вообще теперь на русской почве стоят лицом к лицу две утопии. Одна желает вернуть старое со всем его гнусным содержанием. /.../

Утопии реакционной противостоит другая утопия — большевистского максимализма. Они сразу водворяют будущий строй на место ка-

питалистического. Они объявили «власть пролетариата и крестьянства», но это, конечно, только номинально. Фальсифицируя и насилья выборы, они стремятся сделать все декретами и приказами, то есть приемами мертво-бюрократическими. Лозунг привлекает к ним массы, которые склонны в общем признавать «власть советов». Но явные неудачи в созидательной работе раздражают большевиков, и они роковым образом переходят к мерам подавления и насилия. Им приходится вводить социализм без свободы. Они повторяют формулу самодержавия: сначала успокоение, потом свобода. Они задали печать и самоуправление (деникинцы признавали и то, и другое в большой степени), они чувствуют, что и рабочая среда теперь далеко не за них, и им роковым образом приходится брести все глубже и глубже в заливающих их движение волнах насилия и себялюбия. Воровство в их учреждениях страшное».

31 января

Из письма М. М. Подгаевскому: «Мне суждено стоять в оппозиции ко всем до сих пор сменявшим друг друга властям».

16 марта

Письмо С. Д. Протопопову: «Полтава это время была занята деникинцами, а потом ее брали, опять отдавали и опять брали повстанцы-разбойники «анархиста» Махно, а затем большевики. Так как большевики пришли вскоре, то Полтава пострадала сравнительно мало. Надо отдать справедливость: большевики обуздали своих союзников-махновцев, а теперь объявляют официально, что «батько» Махно вне закона. То, что наделали, уходя, «добровольцы», вы приблизительно знаете из советской прессы. Едва ли можно преувеличить гнусности, которые они произвели в виде погромов и в других формах. Пришли они с грабежом и насилием и ушли так же, оставив разочарование даже в своих приверженцах. Можно сказать — «партия порядка»!.. Первые три дня по их вступлении шел сплошной грабеж еврейского населения. Говорят, Деникин не реакционер и человек не дурной. Но вопрос еще в «преломляющей

среде», в орудиях, которыми ему приходится действовать. А это те самые военные, о которых мне приходилось писать во времена самодержавия. Только вдобавок озверевшие. /.../

Так мы и живем между двумя утопиями: с одной стороны, восстановление нелепостей и гнусностей прошлого, с другой, немедленное водворение социализма бюрократическими мерами...»

28 марта

Запись в дневнике: «В Москве опять свирепствует Ч. К. Расстрелы теперь после известного декрета не производятся. /.../ Теперь приговаривают к бессрочной каторге или в концентрационный лагерь до окончания гражданской войны. Арестованы еще Ек. Дм. Кукова и Прокопович».

30 апреля

Письмо С. Д. Протопопову: «У меня сильная усталость сердца».

Если прибавить, что Полтава около десяти раз переходила из рук в руки, что каждый раз приходится хлопотать о какой-нибудь стороне, что дело идет часто о жизнях, то легко понять, что сердцу успокоиться не на чем, и усталость все прогрессирует. /.../

У нас были колонии из России (около 7 тысяч детей). Надо отдать справедливость: обе стороны относились к детям внимательно. Большевикам и Бог велел: это они послали детей, но и денкинцы отпускали средства и облегчали задачу».

24 мая

Пишет А. Г. Горнфельду: «Здоровье мое неважно. Холодная зима и холодная квартира (и у нас дрова на вес золота) сильно отозвались на моем сердце. Как переживу следующую зиму,— не знаю».

Бродят у нас кругом поляки и петлюровцы. /.../ Вообще я все более и более укрепляюсь в мысли, что Россия должна сама изжить свои невзгоды и ошибки без посторонней опеки. Нужно будет большое усилие и напряжение, чтобы признать свои ошибки и, по возможности, их поправить, но это — са-

мое желательное. Возможно ли,—покажет будущее, которого я, может быть, уже не увижу. А любопытно бы очень».

31 мая

Запись в дневнике: «Голод 1891—1892 года шутка в сравнении с тем голодом, который охватил теперь всю Россию. Одно из непосредственных последствий большевизма — обеднение России интеллигенцией. Одни погибают как инакомыслящие, другие — как прямые противники, третьи прямо как «буржуи», четвертые потому, что выбиты из колеи. Эту зиму не переживут очень многие. Кроме голода, нас будет губить еще холод».

5 июня

Запись в дневнике: «Вчера (в ночь с 3-го на 4-е) во всей Полтаве произведены повальные обыски. Точно ночная экспедиция, одновременно собрались отряды и стали ходить из дома в дом. Брали все на учет. Отряды сопровождали служащие из разных отделов, а не одни чрезвычайники. От этого, вероятно, все совершалось сравнительно прилично... По большей части сообразовывались с инструкцией, хотя кое-где были отступления... Казалось, курс становится умереннее, но для Полтавы он опять обостряется... Выселяются целые дома... При этом иногда запрещают брать из квартир вещи. Затем обыски».

У меня обыска не было. Оказывается, что отправляющимся на эту экспедицию был дан специальный приказ обходить мою квартиру. «А если к нему станут сносить вещи другие?». Распорядившийся задумался, потом сказал: «Даже в таком случае не ходить в квартиру Короленко»... Лично на большевиков пожаловаться не могу, но все эти нелепости относительно других тяжело отражаются на настроении».

7 июня

Приезд А. В. Луначарского. Посещение им Короленко и предложение обменяться письмами на политические темы. Посещение митинга в театре и ходатайство там перед Луначарским за приговоренных к смертной казни (Аронова, Миркина и др.).

По свидетельству В. Д. Бонч-Бруевича, инициатива встречи Луначарского с Короленко принадлежала В. И. Ленину. 9 мая 1920 Луначарский писал жене из Харькова: «Меня направляют сейчас в Полтаву, где я имею поручение /.../ Также и переговорить самым серьезным образом с В. Г. Короленко». («Литературное наследство», т. 80, М., 1971, с. 199).

8 июня

Запись в дневнике: «Вчера ко мне явился Луначарский /.../ Лично впечатление довольно приятное. /.../ Сам он вначале, уже и после нашей полемики, гамлетизировал и колебался. /.../ Он даже выходил из коммунистической партии, но потом опять вошел и теперь плывет по большевистскому течению.

От меня он поехал в город, потом предстоял митинг в городском театре. В эти часы ко мне явились родственники приговоренных чрезвычайкой к казни пяти человек. Имен всех не знаю. Ко мне явились родственники Аронова и Миркина, двух мельников. Их обвиняли в спекуляции хлебом. Надо заметить, что назначенные цены на хлеб совершенно невозможны, и производство муки пришлось бы прекратить. Впрочем, относительно Аронова я сам читал заключение следователя, что его надо отпустить, и нет данных для предания суду. А для Ч. К. есть данные даже для расстрела.

Я отправился в театр в надежде, что Луначарский поможет отстоять эти пять жизней. /.../ И Луначарский, и Иванов (начальник чрезвычайки) уверяли, что эти пятеро еще не расстреляны, и значит, может идти разговор об отмене приговора. Я успокоился и прослушал всю лекцию. Луначарский говорит хорошо и, по-видимому, убежденно /.../ Эти большевистские ораторы находят только аргументы, облекающие в красивые и удобные формы общее течение. По словам Луначарского, Россия теперь держит в руках будущее мира, ключ от всемирного катاکлизма. В Европе она владеет сердцами всего пролетариата, в Азии и колониальных странах она может поднять азиатские орды лозунгом: «Азия для азиатов»... Россию по-

этому все боятся. Вообще, тон Луначарского самоуверенный. /.../ Начался и закончился митинг довольно стройным пением Интернационала. На некоторых молодых лицах заметны признаки одушевления.

По окончании митинга я уже почти опривился. Ко мне подошли с предложением сняться на эстраде вместе с Луначарским, Ивановым, Шумским и другими. Воображаю, как коммунистические газеты использовали бы эту карточку. Я снялся бы с теми самыми лицами, которые так недавно расстреливали людей по административным приговорам. Я наотрез отказался.

Затем я еще раз подошел к Луначарскому, а затем к Иванову, передал ходатайство рабочих об Аронове и просил, чтобы ради приезда Луначарского они отложили террористическую бессудную казнь. /.../ Если нужно — пусть судят.

Иванов пробормотал что-то вроде обещания. Это человек с зловеще бледным лицом, мутным взглядом и глухой речью. Луначарский подтвердил обещание ходатайствовать. /.../ Когда мы с Соней вышли на площадь, в толпе, очевидно, было известно, зачем я приезжал, и чувствовалось разлитое в ней сочувствие. На многих лицах была видна радость при вести о том, что казни не будет. Я тоже надеялся...

А в это время все пятеро уже были расстреляны. Об этом я узнал на следующее утро, то есть сегодня, между прочим, из следующей записки Луначарского:

«Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактионович. Мне ужасно больно, что заявлением мне опоздали. Я, конечно, сделал бы все, чтобы спасти этих людей уже ради Вас, но им уже нельзя помочь. Приговор уже привели в исполнение еще до моего приезда. Любящий Вас Луначарский».

Я слышал не всю его речь, но после этого эпизода мне показалось, что в ней было слишком много угроз красным террором, и сам Луначарский стал производить не такое благоприятное впечатление, как у меня.

Сегодня с утра опять те же впечатления. Пришел юноша с матерью. Отца арестовали и, вероятно, расстреляют. /.../ По-видимому,

просто казнокрадство. У меня большое нерасположение заступаться за эту старую (вероятно) интендантскую крысу, но... все-таки это опять казнь в административном порядке /.../ Нельзя, чтобы следственное учреждение постановляло приговоры. Это азбука правосудия. /.../

Затем пришли две заплаканные девушки. Их отец, Могилевский, пришел зачем-то на мельницу и там арестован. Боятся расстрела. Пишу Иванову без особой надежды. /.../

Мне передали отзыв Шумского: напрасно Короленко беспокоится и расстраивается. Мы наметили план и исполним его. Это — только начало... Значит, нам предстоит еще целая серия бессмысленных ужасов».

Пишет В. В. Беренштаму, юрисконсульту Полтавского губисполкома, для передачи председателю губисполкома ходатайства выдать родным тела казненных для погребения. Председатель губисполкома отказал: «Трупов отдать невозможно, из них устроили бы демонстрацию...».

Одновременно председатель губисполкома сказал: «Было бы очень хорошо, если бы Короленко поселился за городом, вдали от всей этой передраги. Мы создали бы ему полный покой, все удобства. Пусть отдохнет и побудет в стороне от таких впечатлений. Может быть, его здоровье скорее поправится. /.../ Я рассказал Владимиру Галактионовичу о разговоре с председателем губисполкома. Он даже вскочил на кровати. — Никуда, никуда не поеду! — закричал Владимир Галактионович. — Буду здесь, буду здесь! Буду все время им писать!».

25 июня

Запись в дневнике: «Иванов из Ч. К. ушел и сделан комендантом тюрьмы. В одном письме, полученном нелегально из тюрьмы и попавшем ко мне, пишут, что судьбу заключенных, вплоть до расстрела, решают «трое», «как им подскажет «революционная совесть». Вызывают жертву «на так называемый допрос». «Часов в 11 ночи ведут двое под руки, третий сзади, в погреб и там расправляются.

(Это, кажется, происходит и в Ч. К.). Арестованный кричит: «О, товарищи, голубчики... Я ж не виноват, что вы робите!..». Тогда задний бьет ручкой револьвера по голове, и крик смолкает... Обращение с арестованными отвратительное: все время слышна площадная отвратительная ругань, какой я (пишет автор письма) никогда не слышал, пока не попал за эти решетки».

27 июня

Письмо В. В. Беренштаму с ходатайством за обвиняемых во взяточничестве: «Нет ничего ошибочнее, чем мысль, что казнями можно регулировать цены или отучить от взяточничества. Не стану доказывать это подробно, так как Вы и сами знаете это из истории Французской революции».

30 июня

Запись в дневнике: «// В московских «Известиях» от 16 июня помещена заметка «На Украине» (беседа с тов. Луначарским.) // «В Полтаве, — сказал между прочим тов. Луначарский, — я имел длинную политическую беседу с тов. В. Г. Короленко. Несмотря на некоторые (?) разногласия, Короленко резко проводит грань «между джентльменским — по его словам — поведением Красной армии и разбойничьим поведением денкинцев, которых он наблюдал в Полтаве».

Вот что значит интервью. Немного исказит Луначарский, еще больше интервьюер, и получается полная ложь! В действительности я говорил следующее: «Большевики умеют «занимать город». Каждый раз, когда они входили, быстро прекращались грабежи и неистовства бандитов. Даже в последний раз, когда им предшествовали шайки настоящих бандитов, они скоро возобновили порядок, тогда как денкинцы открыто грабили еврейское население три дня. Но затем, когда начинает действовать большевистский режим, с чрезвычайками, арестами и бессудными расстрелами, — это впечатление скоро заменяется ненавистью населения и ожиданием новой перемены».

И это превратилось в «джентльменство».

Джентльменство людей, расстреливающих без суда своих ближних!

Вчера ко мне пришла целая кучка женщин. Это жены милиционеров. Их мужей арестовали, человек более 100, только за то, что они служили при деникинцах. Как будто при деникинцах не нужна охрана жизни и имущества граждан.

7 июля

Письмо Полтавскому губисполкому с отказом от снабжения, предложенного В. Г-чу 2 июля.

«Если я действительно сделал что-нибудь заслуживающее одобрения, то это благодаря полной независимости, которую сохранял все время своей деятельности».

Литературный критик К. Л. Зелинский 31 марта 1920 г. сообщил А. В. Храбровицкому, что в 1920 г. он был секретарем Малого Совнаркома Украины и по поручению Х. Г. Раковского ездил в Полтаву, чтобы узнать нужды Короленко. Владимир Гал. сказал, что ему ничего не надо, а чтобы Раковский больше внимания обращал на его письма.

7 июля

Два письма к председателю Полтавского губисполкома Порайко с протестом против бессудных казней (среди казенных были и несовершеннолетние).

Письма к Луначарскому, письмо третье.

«Насколько мой слабый голос будет в силах, я до последнего дыхания не перестану протестовать против бессудных расстрелов и против детоубийства».

26 июля

Запись в дневнике: Ко мне пришла молодая женщина с расстроенным лицом. /.../ Ее арестовали 21 июля. Она заявила, что у нее очень болен маленький ребенок, и ей необходимо быть при нем. «Вы можете отдать его в приют». На следующий день позвали к допросу. Следователь (Соколов) спросил у нее, что она делала во время гетманщины. Она ответила. «А в каких отношениях вы

были с неким Игнатьевым?» — «Да это мой муж... Во время гетмана он был арестован по обвинению в заговоре против гетманской власти». Следователь приятно удивлен. «В таком случае вы свободны». Но после этого ее держат еще два дня! Когда отпустили, она бежит домой и — застаёт своего ребенка уже на столе!.. /.../

Все жандармы в мире одинаковы! Пожалуй, теперешние бывают и похуже».

29 июля

Пишет С. Д. Протопопову: «Порой свожу итоги, оглядываюсь назад... /.../ Вижу, что мог бы сделать много больше, если бы не разбрасывался между чистой беллетристикой, публицистикой и практическими предприятиями, вроде мултанского дела или помощи голодающим. Но — ничуть об этом не жалею. Во-первых, иначе не мог. Какое-нибудь дело Бейлиса совершенно выбивало меня из колеи. Да и нужно было, чтобы литература в наше время не осталась безучастной к жизни. Вообще я не раскаиваюсь ни в чем, как это теперь встречаешь среди многих людей нашего возраста: дескать, стремились к одному, а что вышло. Стремись к тому, к чему нельзя было не стремиться при наших условиях. А вышло то, к чему привел «исторический ход вещей». И, может быть, без наших «стремлений» было бы много хуже».

Не позже 4 августа

Письмо к председателю Всеукраинского ЦИК Г. И. Петровскому с ходатайством о 17-летней Евдокии Пищалке, приговоренной Полтавской ЧК к расстрелу. (Пищалка была освобождена).

Письма к Луначарскому, письмо третье.

19 августа

В своих воспоминаниях «Моя жизнь», изданных в США, Эмма Гольдман рассказала о встрече ее и Генри Альсберга с Короленко в Полтаве (перевод с английского):

«Владимир Короленко, с седой бородой и шевелюрой, в подпоясанной крестьянской рубашке /.../. Он живо интересовался и глубоко откликался на все, что мы могли сообщить

ему об Америке, которая ему, как будто, очень понравилась /.../. Но конечно, нам было гораздо интереснее послушать, что Короленко скажет о России, и мы осторожно перевели разговор на эту тему.

Эти вопросы были явно открытой раной для старого писателя, и я пожалела, что затронула их. Он немного облегчил мое чувство вины, заметив, что даст копии двух писем Луначарскому, в которых речь шла о том же, о чем мы хотели расспрашивать его. Это были первые из шести писем, которые Луначарский просил его написать; в них должно было содержаться искреннее выражение его отношения к диктатуре. «Может быть, эти письма так и не увидят света,—заметил он,—но ваш музей получит их все, как только они будут написаны».

Альсберг спросил, можно ли повторить слова Короленко в Америке, и наш хозяин отвечал, что не возражает, потому что время молчания давно прошло. Он сознавал опасность, все еще стоявшую перед Россией, но полагал, что «как она ни велика, она не так серьезна, как внутренняя угроза для революции». Она состоит в заявлении большевиков, что все формы террора, включая массовые казни и захват заложников, оправдываются как революционная необходимость. Для Короленко это было худшим извращением основной идеи революции и всех этических ценностей.

«Я всегда считал,—добавил он,—что революция это высшее выражение человечности и справедливости. Диктатура лишила ее того и другого. У нас коммунистическое государство изо дня в день выхолащивает сущность революции, заменяя ее делами, оставляющими по жестокости и произволу далеко позади царские. Царские жандармы, например, имели право арестовать меня. Коммунистическая Чека имеет право еще и расстрелять меня. И в то же время большевики имеют дерзость провозглашать мировую революцию. На самом деле, их эксперимент в России неизбежно надолго задержит социальные изменения в других странах. Где европейской буржуазии найти лучшее оправдание

для своих реакционных приемов, чем в жестокостях диктатуры в России?».

Г-жа Короленко предупреждала нас, что ее супруг далеко еще не поправился, и ему надо избегать утомления. Но когда старик заговорил о России, ему уже трудно было остановиться. Вид у него был усталый, и мы не решались оставаться дальше. Я не могла все же уйти, не сказав ему, что он дал новый стимул моей вере в революцию. Его прекрасный взгляд на значение и цели революции укрепил мой, почти разрушенный восемью месяцами пребывания в Советской России. Я не могла достаточно выразить ему свою благодарность за это».

Эмма Гольдман рассказала также о беседе с председателем Политического Красного креста в Полтаве, свояченицей Короленко, Прасковией Семеновной Ивановской, которую она называет «госпожа Х»:

«Я высказала свое удивление тем, что Короленко оставляют на свободе, несмотря на его частые выступления против власти. Г-же Х это не казалось странным. Она объяснила мне, что Ленин очень умный человек. Он знал, где у него козырные карты — Петр Кропоткин, Вера Фигнер, Владимир Короленко,—с этими именами надо было считаться. Ленин понимал, что пока можно указывать на них, остающихся на свободе, удастся успешно опровергать обвинение в том, что при его диктатуре пользуются лишь ружьем и кляпом. И весь мир проглотил эту приманку и молчал, пока распинали истинных идеалистов».

В начале сентября 1920 года Альсберг был арестован в Харькове. (В. И. Ленин и ВЧК. М., 1975, с. 409—410).

29 сентября

Запись в дневнике: «Взаимное иступление доходит до изуверства. Не очень давно у меня был Раковский, какой-то юноша Кассиор /.../. Мне пришлось много говорить с ними и вообще, и в частности я заявлял разные хатайства за отдельных лиц. Кассиор все это записывал, и в результате вчера ко мне пришел д-р Ясинский, оправданный несколько дней назад рев. трибуналом. /.../ Между тем

Ясинский уже был приговорен «чекой» к расстрелу. Заседание суда было настоящим торжеством подсудимых. /.../ Ширшов держал себя на суде чрезвычайно вызывающе и дерзко, отказался, несмотря на слова председателя, отвечать на вопросы подсудимых, а затем заявил, что он уходит /.../, что он не признает такого суда, где подсудимые могут задавать вопросы. /.../ Интересно, что коммунисты прочили его в заместители председателя трибунала! Теперь, может быть, откажутся...

Возвращаясь к разговору с Раковским и другими. /.../ Все, даже Раковский, доказывали необходимость таких мер «самозащиты», и мне едва удалось (кажется, при некотором сочувствии юноши Кассиора) добиться обещания, что расстрел заложников и сжигание сел будут практиковаться «с крайней осторожностью». Но... вернувшись в Харьков, Раковский /.../ опять не увидел других средств, кроме жестоких мер».

19 октября

Пишет А. С. Жаку: «По поводу анархизма вот мой ответ. При оценке любой партии важны не одни конечные цели, но и средства и пути их достижения. Цели анархизма превосходны, но до сих пор мы не видим их средства. Анархизм или остается утопией, или представлен такими элементами, как, например, махновцы, которых трудно отличить от бандитов. Поэтому я считаю, что пока анархизм, как партия, не существует вовсе. В практике политических партий средства не менее важны, чем цели. Хорошие, правильные средства, основанные на хороших началах, возвышающих человека, могут сами по себе привести к хорошим целям, а одни цели, без правильных средств — остаются в лучшем случае в воздухе, а в худшем ведут к махновщине».

«Сам больной и слабеющий, он не переставал упорно и настойчиво бороться за каждую человеческую жизнь. /.../

Когда просматриваешь дневники В. Г. за 18-й, 19-й и 20-й годы, в них поражает это же красноречивое однообразие. Это повесть

непрерывного «хождения по мукам». Менялись только названия учреждений — разведка, ЧК, контрразведка, опять ЧК, — а по существу все та же борьба за жизнь против вражды и мести».

Т. Богданович, Вл. Г. Короленко
в последние годы жизни.
«Былое», 1922, № 19.

2 января 1921 года

Запись в дневнике: «В ночь с 31-го на 1 января произошла следующая характерная «коммунистическая шутка». В театре происходила встреча нового года. /.../ Около полуночи вдруг в театр ворвались человек 20 красноармейцев и стали кого-то разыскивать в толпе. Поймали какого-то оборванца и с криками повлекли его на эстраду. /.../ Приставили к стенке, затем произошло приготовление к расстрелу. В публике, среди которой были женщины /.../, началась паника и, говорят, истерические крики. В конце концов это оказалась «милая шутка». Расстреливали «старый год». Из-под лохмотьев оборванца появился бравый моряк — новый год!!

/.../ Большевистские шутки не совсем уместны. Но, по первым рассказам, шутка была разыграна слишком натурально».

12 января

Запись в дневнике: // Обыск у соседей. К. И. Ляховича просили присутствовать в качестве понятого. // «По его словам, чекисты вели себя очень деликатно. Прежде это было не так: у обыскиваемых чекисты производили не только обыски, но порой и грабеж. /.../ Теперь не то. Большевики разными мерами (порой даже казнями своих агентов) ввели в эту процедуру некоторый порядок. Ляхович выразился, что они вели себя «как прежде жандармы».

Таким образом, новый строй достиг при обысках «почти жандармского» совершенства. Но затем — жандармы не имели права расстреливать, а Ч. К. делает это, не стесняясь никакой судебной процедурой /.../».

6 мая

Из письма Н. С. Тютчеву: «В прошлом году я написал 6 писем А. В. Луначарскому.

Теперь в заявлениях Ленина вижу многое, что я тогда писал. Не приписываю это себе, но поворот несомненный».

9 мая

Запись в дневнике Н. С. Ашукина, секретаря Правления Всероссийского союза писателей:

«В правлении Союза писателей Чуковский сделал доклад о литературных делах в Петербурге. /.../ Председателем всего Союза решено избрать Короленко. Короленко живет в Полтаве. Он болен: грудная жаба. Но он пишет, заканчивает своего «Современника». Ему дали продовольственный паек, но он отказался от него, сказав, что на иждивении правительства никогда не был и быть не хочет. Между тем, он нуждается, продает свои вещи, которые его знакомые стараются купить у него, чтобы опять подарить их ему же».

21 мая

Письмо П. В. Мокиевскому: «Уже хлопоты о «смертниках» («Бытовое явление») доставляли много волнений, а теперь... одно время я не выходил из чрезвычайки. Представьте себе, как на нервного человека должна действовать необходимость сообщать женам о том, что мужья уже расстреляны раньше, чем возбуждены хлопоты, и тому подобные прелести».

А мне это приходилось нередко. На днях (около месяца назад) мне пришлось испытать эти прелести в своей семье. Мой зять (меньшевик) был арестован, в тюрьме заразился и 17 марта // апреля // мы его похоронили. Можете представить, как это должно было подействовать на меня. Человек был превосходный, и мы все его очень любили.

Относительно Венедикта Александровича // Мякотина // пока ничего определенного сказать нельзя. Говорили, что вот-вот собираются выпустить, но пока только говорят, а держат в Бутырьках. Впрочем, может быть, уже произошла какая-нибудь перемена».

29 июля

Из записки врачам, приехавшим из Харькова:

«По временам мне кажется, точно я «переработался» и при этом нервная система находилась в постоянном угнетении: под гнетом постоянных казней и как будто ответственности за них. Началось это с приезда в Полтаву Луначарского и эпизода, за этим последовавшего. Тогда я в первый раз, вместо разумной речи, расплакался. Я чувствовал, что ходатайствую за уже погребенных».

Лето.

В статье проф. В. К. Хорошко «О болезни и предпоследних днях жизни В. Г. Короленко» («Задруга». Памяти Вл. Г. Короленко. М. 1922) на с. 102 купюра после слов: «Другой эпизод из недавнего прошлого...». Очевидно, здесь должен был быть эпизод, о котором сообщается в книге В. А. Мякотина «В. Г. Короленко» (М., «Земля», 1922, с. 44).

«Когда летом 1921 года одно из таких ходатайств не увенчалось успехом // за осужденного к смертной казни //, его постиг первый удар, отнявший у него дар речи».

18 декабря

Рецидив воспаления легких.

С. В. Короленко:

«18 декабря у отца вновь началось воспаление легких. Весть о тяжелой болезни Короленко быстро разносилась по городу. Толпы людей стояли вдоль нашей улицы с раннего утра и до ночи. Полтавские врачи, фельдшеры и медсестры распределили между собой дневные и ночные дежурства у постели больного. Извозчики в очередь стояли у нашего дома — они отвозили врачей, ездили за кислородом. Когда извозчик отъезжал от дома с кем-нибудь из врачей, за ним бежали и в тревоге спрашивали о состоянии отца, температуре, пульсе, сознании».

Время было трудное, много нельзя было достать. И десятки, а может быть, и сотни людей тихонько стучали в кухонную дверь и молча передавали сверток с сахаром, то пакетик с ампулами камфары или кофенна, то свежеспеченную булку. Иногда на пакете надпись: «На доброе здоровье», «Только поправляйтесь», «Нашему защитнику», «Другу

несчастных»... На салазках подвозили к сараю дрова, несли их на себе».

25 декабря

В 22 часа 30 минут Короленко скончался. «В ночь на 25 декабря отец терял сознание, бредил, порывался встать и идти. К утру успокоился, узнал всех, улыбался, приласкал нас взглядом, прикосновением руки, благодарил врачей.

Около 17 часов начался отек легких. В 22 часа 30 минут отец перестал дышать. Шестнадцать врачей, собравшихся у его постели, удостоверили смерть Короленко.

Толпа на улице все росла и росла в эту морозную ночь. Люди уже не сдерживали выражения своего горя и скорби. До самого утра улица оставалась запруженной народом».

«Три дня Полтава прощалась с Короленко. Двери нашего дома стояли настежь с утра до ночи. Не было ни распорядителей, ни почетного караула, никто не направлял движения непрерывного людского потока. Но тишина и порядок не нарушались.

Прощалось с отцом все население Полтавы — от школьников до стариков из инвалидных домов, люди всех званий, профессий, возрастов, положений. По просьбе матери представители власти не вмешивались в руководство похоронами. Вместе с тысячами приходивших к гробу прошли и члены Полтавского исполкома и приехавшие из Харькова представители Совнаркома и Наркомпроса Украины. Просьба матери о том, чтобы не произносились речи, была исполнена.

«Когда я думаю о смертном одре Короленко, об его могиле на полтавском кладбище, мне вспоминаются вдохновенные строки, в которых он описывал смерть Сократа:

«Теперь он лежал в своей тюрьме, под плащом, спокойный и неподвижный, а над городом нависла печаль, недоумение, стыд...

Он опять стал мучителем города, сам уже недоступный мучению... Овод был убит, но мертвый он жалил свой народ еще больше... Не спи, не спи эту ночь, афинский народ! Не спи,— ты совершил жестокую, неизгладимую неправду!» («Тени»).

Мы не афиняне, мы не отравили своего мудреца. Мы только выбили из его рук, рук старого писателя, его единственное оружие, его перо, мы только поднесли ему на закате его жизни горькую чашу ходатайств за смертников. Он умер... но с нами остались его произведения с вдохновенной защитой свободной мысли и свободного слова, с страстным протестом против ужаса смертной казни. И рассказ об его смерти, как и повесть о его жизни, будет, по его слову, «служить правому делу».

В. А. Мякотин.

«Речь на собрании членов «Задруги»
в память В. Г. Короленко
10 января 1922 г.»

27 декабря

ВЦИКом послана в Полтаву на имя председателя УЦИКа тов. Петровского следующая телеграмма:

«Президиум ВЦИК просит вас передать семье покойного В. Г. Короленко, от имени Всероссийского съезда Советов, что все сознательные рабочие и крестьяне с глубокой скорбью узнали о кончине благородного друга и защитника всех угнетенных — Владимира Короленко.

Советская власть примет все меры к широчайшему распространению произведений покойного среди трудящихся Республики.

Председатель ВЦИК М. Калинин.

Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.

«Известия», 1.1.1922, № 1.

Это обещание осталось невыполненным.

Владимир Матвеев

РОДНАЯ СТИХИЯ

Дружил с отметками плохими я,
и в школе славился проказами,
казалась темным лесом химия
с ее зловреднейшими газами.
Теперь ученого мудрее я,
таблицы соль впитал практически:
я всей системой Менделеева
травлю нутро систематически.

СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ

— Возьми цветы, моя отрада,
гулять мы будем до зари.
— Цветов и пышных слов не надо,
печатку мыла подари.

РУССКАЯ БЫЛЬ

Дед в богатеях не ходил,
но, как врага, его судили.
Он чудо-репку посадил....
За что же деда посадили?

В МИРЕ «ХРУЩЕВ»

Скудеет ум, нищает чувство,
обида, будто в горле кость,—
у нас с поэтами не густо,
у нас философ — редкий гость.
На культ валить все не годится,
в ином причину вижу я:
высокий дух
в домах родится,
а не в коробках
для жилья.

СМЕЛАЯ ПОСТАНОВКА

Спектакль задуман
без антрактов,
в нем нет
традиций вековых,
мы видим
пять коротких актов,
из них четыре —
половых.

ДИАЛОГ С РЕЦИДИВИСТАМИ

— Бандиты вы,
убийцы, уркаганы,
но вами озабочена страна,
мы очень терпеливы и гуманны
и вас гуманизируем сполна.
Покажется и лагерь
сущим раем,
духовный испытаете подъем...
— Ты не лепи горбатого нам,
фрайер,
на волю выйдем —
первого пришьем!

РОКОВОЕ НАВАЖДЕНИЕ

Песен визгливых я слышу немало,
бред за искусство себя выдает...
Песня и строить, и жить помогала,
нынче — ни строить, ни жить
не дает.

ДОБРЫЙ СОВЕТ

Ценим мы запросы духа,
но важнее запросы брюха:
не ходите на певца,
лучше выпейте пивца.

АЛЛЕРГИЯ

— Как тебе не стыдно, Полкан! — голос хозяина дрогнул душевной болью. — Ты погляди, что они сделали, эти варвары, с нашим участком, — он широко повел рукой.

Пес испуганно прижал уши и уткнулся носом в землю.

— И среди бела дня... Ты издеваешься надо мной, Полкан! — хозяин сорвался на крик. — Я же табличку к воротам приколотил «Осторожно: злая собака!» Можно сказать, поручился за тебя. Как мне народу в глаза смотреть?

Пес попытался засунуть голову под пустую миску.

— Я понимаю, — продолжил хозяин, немного успокоившись, — дети. Но ведь мог же ты хотя бы тявкнуть. Мог, я тебя спрашиваю?

Пес виновато заскулил.

— Сколько можно учить? Это же так легко, черт возьми!

И он, набычившись, рывкнул басом:

— Во-вов!

Гремя цепью, Полкан метнулся в будку.

— Ну-ну, вылазь, — хозяин с трудом подавил самодовольную улыбку.

— Вон, слышишь, — насторожился он вдруг, — крадется кто-то за забором. Запоминай, последний раз показываю.

Снял с пса ошейник, надел на себя, опустился на четвереньки и, заливаясь дурным лаем, кинулся по дорожке.

Звякнула щеколда. Хозяин резко затормозил и поднял голову.

Перед ним в раскрытой калитке стоял человек в белом халате. Из-за его плеча выглядывала родная жена, полчаса назад ушедшая на почту.

— Вот видите, доктор, — вскрикнула она, — опять.

Кто-то смущенно хихикнул, может, даже Полкан.

Растерянный хозяин хотел было что-нибудь сказать, перевести все в шутку, объясниться, наконец, но не нашел ни одного подходящего слова. Лишь умоляюще глянул в глаза врачу и зачем-то лизнул его пыльный ботинок.

— И часто он... так? — обратился тот к жене, опасливо отдергивая ногу.

— Да каждый год, доктор, — заплакала женщина. — Как только клубника поспевает, это и начинается.

— Та-ак, — задумчиво протянул врач, прислушиваясь к шуму подъезжающей машины, — аллергическое, значит. Что ж, пойдем, дружок, у нас клубника не растет. Тц-тц-тц, — поманил он, вытянув руку.

И хозяин, набрав полную грудь воздуха, тоскливо и обреченно завыл.

Эдуард Гольцман

ПОЧЕМУ У ПЕТУШКА
ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК

На стене картинка:
В лес ведет тропинка...
Если мне бежать по ней
День, и два, и много дней,
То, наверно, я в лесу
Встречу Волка и Лису.

— Лапы вверх!
Взмахну двустолкой
И спрошу Лису и Волка:
— Где тут Терем-Теремок?
— У скрещения дорог.

На златом крылечке — мышка.
И расскажет мне малышка
Чудо-тайну гребешка
Золотого Петушка:

— Все не так,
Как в сказке, было.
Я яичко
Не разбила,
А подкинула той рябушке,
Что жила у деда с бабушкой.

Промелькнуло суток трое —
Появился Петушок.
Коль яичко золотое,
Золотой и гребешок.

Этой тайной удивленный,
Я покину лес зеленый
И обратно, по тропинке,
Возвратясь,
Сойду с картинки.

ЧИСТЮЛЯ

— Федя,
Завтракать пора.
Руки мыл?
— Еще вчера!

ПОЧЕМУ РЕПКА ВЫРОСЛА
БОЛЬШАЯ-ПРЕБОЛЬШАЯ

Баба и дед
Дружно землю вскопали,
Внучку и Жучку
На помощь позвали.
Сделали грядку.
Потом боронили.
Кошку и мышку
Позвать не забыли.
Вырыли лунку
Для сказочной репки.
Дед посадил ее
(Помните, детки?).
Водой поливала
Помощница-внучка,
А ведра носить
Помогала ей Жучка.
Кошка и мышка
Все лето пололи —
И выросла репка
Огромная в поле.

СОН

Мне вчера
Приснился
Слон.
Как же в сон
Вместился
Он?

ДВЕ ЛУНЫ

Мы смотрели в вышину:
Кто-то разломил луну.
Где ж вторая половина?
— В озере, —
Сказала Нина. —
Видно даже из окна:
По воде плывёт она.

К НАРОДАМ РОССИИ

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ VII ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ СП РСФСР

Братья и сестры! Дорогие россияне! Отечество переживает тяжкие дни.

Никогда еще наша страна не оказывалась в таком унижительном состоянии смуты, межнациональной розни, экономической нестабильности, мафиозного преступного торга историческими территориями, природными богатствами, культурными ценностями, беспрецедентного раскола земель и народов. Отцы и деды оставили нам великую Родину, великую науку, великую культуру и литературу, армию, сильную духом. Родина наша измучена, унижена, ослаблена разрушительными действиями и решениями. Земля наша поругана, осквернена, испоганена, пущена по ветру.

Славную армию загоняют ныне в мятежные аулы и города — усмирять, подавлять, запугивать. Ее выставляют жандармом народов. Любимая армия, неодолимая армия, разгромившая гитлеровскую Германию, изгоняется из памяти поколений, как бесприютная сирота.

Почему такая несправедливая доля выпала нашему многострадальному, многоязычному народу?! Не он ли поднял из нищеты и бедности ближние и дальние окраины?! Не он ли накормил щедрой рукой, от своих детей отрывая, голодающие народы?! Не он ли сплотил разобщенные ранее народы и племена?! Не он ли явился стовальным хребтом великой Победы народов, спасших мир от фашизма?! Священная благодарность за безмерные жертвы России долгие годы согревала сердца миллиардов людей планеты.

Россия подняла братские народы и мир на плечах многонационального рабочего класса, крестьянства, интеллигенции. Однако именно их, рядовых тружеников страны, называют сегодня «рабами социализма», «лентяями», «тупицами» и даже «фашистами», не брезгуя кормиться с их мозолистых и милосердных рук.

Столь же беспощадной критике сегодня подвергается и партия, ведется жестко скоординированная атака с целью ее раскола и уничтожения.

Писатели-россияне поддерживают создание своей самостоятельной независимой Коммунистической партии России.

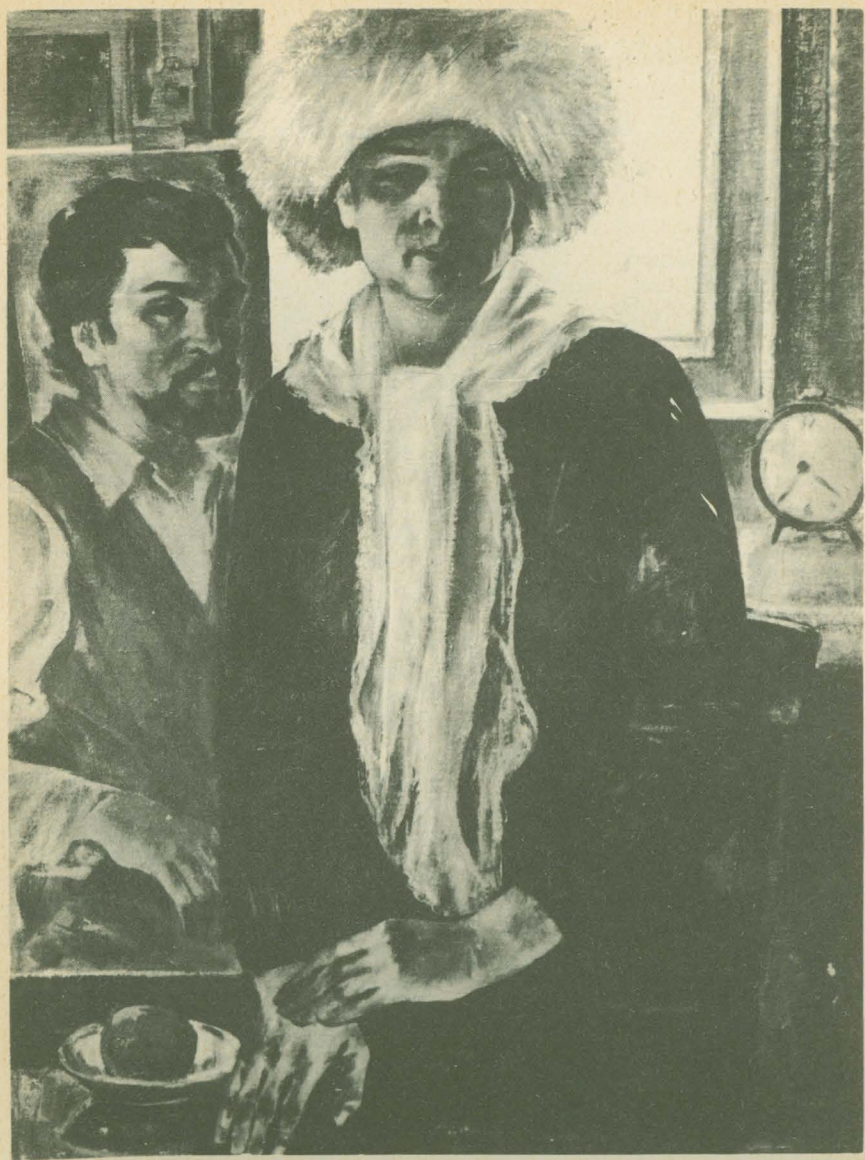
В этот критический час надежда народов вновь обращена к России, к сыновьям и дочерям ее, способным возродить единое многонациональное Отечество.

Сегодня, когда агрессивными силами взорван покой народов — фундамент созидания и прогресса, задача России, ее многонациональных народов, ее творческой интеллигенции, рабочего класса и крестьянства, нашей молодежи, всех верующих и истинных патриотов — взять на себя возрождение России, ее областей, краев и республик. Только самоотверженная работа, только упорный повседневный труд укрепит страну. Только честные, совестливые, талантливые и мужественные люди способны сегодня решить нашу судьбу, спасти Отечество. Этим людям надо открыть дорогу, им, патриотам, доверить страну.

Россияне! Никто, кроме нас, не преградит путь алчным экспериментаторам, бездарным новаторам, проповедникам нестабильности и разлада.

Только сплоченность и единство, труд и порядок, мудрость, спокойствие и энергия возродят Россию.

Россия была и есть! Россия будет, если возрождение ее станет патриотическим долгом каждого россиянина.



Г. Степанов, «В мастерской художника», х. м.

